

ИРВИН ЯЛЛОМ

Мама



и смысл жизни

психотерапевтические истории

Практическая психотерапия

Ирвин Ялом

**Мама и смысл жизни.
Психотерапевтические истории**

«ЭКСМО»

1999

Ялом И. Д.

Мама и смысл жизни. Психотерапевтические истории /
И. Д. Ялом — «Эксмо», 1999 — (Практическая психотерапия)

ISBN 978-5-699-37162-4

Каждое произведение Ирвина Ялома – это бестселлер. Талант рассказчика ярко виден даже в тех его книгах, которые посвящены специальной тематике. В этой же книге его писательский дар просто блещет! Можно без конца слышать, что слово лечит, история учит, но оставаться при этом совершенным скептиком. Но стоит открыть книгу Ялома и прочесть несколько первых строк, и эти истины перестают быть банальными. Автор – замечательный рассказчик, он не только умеет рассказывать, он любит это делать. Беря в руки эту книгу, ты остаёшься один на один с автором и становишься не читателем, а скорее слушателем. Ну, и, разумеется, учеником, потому что этот рассказчик учит. И когда он говорит: «Слушайте своих пациентов. Позвольте им учить вас», на какой-то миг вы меняетесь местами: ты становишься врачом, а Ялом – твоим пациентом, который учит своего терапевта. Ты только позволь ему это делать.

ISBN 978-5-699-37162-4

© Ялом И. Д., 1999

© Эксмо, 1999

Содержание

Книги Ирвина Ялома	6
Благодарности	8
Мама и смысл жизни	9
Странствия с Полой	17
Южный комфорт[3]	38
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Ирвин Ялом

Мама и смысл жизни

Саулу Спиро, психотерапевту, поэту, художнику

С благодарностью за наши сорок лет дружбы — за сорок лет совместной жизни, книг, творческой инициативы, стойкого скептицизма ко всему.

Irvin D. Yalom
Mamma and the Meaning of Life

Перевод и научная редакция *Елены Климовой*
Художественное оформление *Петра Петрова*

© by IrvinD. Yalom, 1992, 1996, 1999

© Климова Е.А., перевод, 2010

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013

Книги Ирвина Ялома



«Когда Ницше плакал»

Незаурядный пациент... Талантливый лекарь, терзаемый мучениями... Тайный договор. Соединение этих элементов порождает незабываемую сагу будто бы имевших место взаимоотношений величайшего философа Европы (Ф. Ницше) и одного из отцов-основателей психоанализа (Й. Брейера).

«Лжец на кушетке»

Ялом показывает изнанку терапевтического процесса, позволяет читателю вкусить запретный плод и узнать, о чем же на самом деле думают психотерапевты во время сеансов.

Книга Ялома – прекрасная смотровая площадка, с которой ясно видно, какие страсти владеют участниками психотерапевтического процесса.

«Мама и смысл жизни»

Беря в руки эту книгу, ты остаешься один на один с автором и становишься не читателем, а скорее слушателем. Ну и, разумеется, учеником, потому что этот рассказчик учит. И когда он говорит: «Слушайте своих пациентов. Позвольте им учить вас», на какой-то миг вы меняетесь местами: ты становишься врачом, а Ялом – твоим пациентом, который учит своего терапевта. Ты только позволь ему это делать.

«Проблема Спинозы»

Жизнеописание гения и злодея – Бенедикта Спинозы и Альфреда Розенберга, интригующий сюжет, глубокое проникновение во внутренний мир героев, искусно выписанный антураж XVII и XX веков, безупречный слог автора делают «Проблему Спинозы» прекрасным подарком и тем, кто с нетерпением ждет каждую книгу Ялома, и тем, кому впервые предстоит насладиться его творчеством.

Благодарности

Выражаю благодарность всем тем, кто прочитал, сделал замечания и полезные добавления к окончательному тексту этой рукописи: Саре Липпинкотт, Давиду Шпигелю, Давиду Ванну, Джо Анн Миллер, Мюррею Билмесу, Анн Эрвин, Бену Ялому, Бобу Бергеру, Ричарду Фумозе и моей сестре Джин Роуз. Я, как всегда, в неоплатном приятном долгу у моей жены, Мэрилин Ялом, в гораздо большей степени, чем я могу выразить. И также в неоплатном долгу перед моим редактором, Фебой Хосс, которая в этой книге, как и во многих других, принуждала меня творить на пределе моих возможностей.

Мама и смысл жизни

Сумрак. Похоже, я умираю. Зловещие силуэты обступили мою кровать: кардиомониторы, кислородные баллоны, капельницы, спирали пластиковых трубок – кишки смерти. Я закрываю глаза и скольжу вниз, в темноту.

Но тут выпрыгиваю из кровати, вылетаю из палаты прямо в ярко залитый солнцем парк аттракционов Глен Эко. Много десятилетий назад я проводил здесь почти все летние воскресенья. Слышится карусельная музыка. Я вдыхаю влажный карамельный запах липкого попкорна и яблок. И иду, никуда не сворачивая, – не задерживаюсь ни у тележки с мороженым десертом «Белый медведь», ни у двойных американских горок, ни у колеса обозрения – чтобы встать в очередь за билетами в «Пещеру ужасов». И вот билет куплен, я жду, пока следующий вагончик обогнет угол и с лязгом остановится около меня. Я залезаю в него и опускаю скобу безопасности, чтобы приковать себя к сиденью. Оглядываюсь в последний раз – и там, посреди кучки зевак, – вижу ее.

Я машу руками и зову, громко, чтобы все услышали:

– Мама! Мама!

Тут вагончик трогается с места и бьется о створки дверей, которые распахиваются, открывая зияющую чернотой утробу. Я откидываюсь назад, насколько могу, и, пока меня не поглотила тьма, снова кричу:

– Мама! Я молодец, мама? Скажи, я молодец?..

Поднимаю голову с подушки, пытаюсь стряхнуть сон. Слова застряли у меня в горле: «Я молодец, мама? Скажи, я молодец?»

Но мама уже давно в могиле. Вот уже десять лет, как ее, холодную как лед, зарыли в простом сосновом гробу на кладбище «Анакостия» под Вашингтоном. Что от нее осталось? Думаю, одни кости. Конечно, бактерии отполировали их до блеска. Может быть, осталась пара жидких седых прядей, а может, еще видны блестящие полоски хряща на концах больших костей, берцовых и бедренных. И конечно, кольцо! Где-то в костяном прахе должно быть тонкое серебряное филигранное обручальное кольцо, которое папа купил на Эстер-стрит после того, как они приехали в Нью-Йорк третьим классом из еврейского местечка где-то в России, на другом конце света.

Да, мамы давно уж нет. Десять лет. Отдала концы и истлела. Ничего не осталось – только волосы, хрящи, кости, серебряное обручальное кольцо. И ее образ, наблюдающий за мной в моих воспоминаниях и снах.

Зачем же я машу ей во сне? Ведь махать ей я перестал много лет назад. Как давно? Может, десятки лет. Кажется, это было больше полувека назад, когда она повела меня, восьмилетнего, в «Лесной» – кинотеатр по соседству, за углом от папиного магазина. Хотя в зале было достаточно свободных мест, она плюхнулась рядом с одним из местных хулиганов, мальчишкой на год старше меня.

– Эй, леди, тут занято, – прорычал он.

– Ну да, конечно! Занято тут, – презрительно отозвалась мать, устраиваясь поудобнее. – Он занял место. Подумайте, какой важный!

Она произнесла это громко, во всеуслышание.

Мне захотелось вжаться в кресло и исчезнуть в его свекольно-красном бархате. Чуть позже, когда уже погасили свет, я набрался духу и медленно повернул голову. Вон он, пересел на несколько рядов назад, к своему дружку. Я так и знал – они смотрели на меня и тыкали пальцами в мою сторону. Один показал мне кулак и беззвучно произнес: «Погоди у меня!»

Так мама закрыла мне доступ в «Лесной». Теперь это была вражеская территория. Вход был воспрещен – по крайней мере среди бела дня. Если я хотел быть в курсе воскресных сери-

алов – «Бак Роджерс», «Бэтмен», «Зеленый шершень», «Фантом», – мне приходилось прокрадываться в зал уже после начала сеанса, занимать место в темноте, в самом последнем ряду, как можно ближе к выходу, и убегать, не дожидаясь конца фильма, пока не включили свет.

В нашем квартале не было задачи важнее, чем избежать чудовищной катастрофы – *быть избитым*. «Стукнули» – да запросто: заехали кулаком в челюсть, и все. «Треснули», «вломили», «напинали», «порезали» – один черт. Но если *быть избитым* – *ohmygod*. Когда это закончится? Что от тебя останется? Ты – навсегда вне игры с клеймом «избитый».

Но махать маме? С какой стати я машу ей теперь, когда много лет мы жили в состоянии ничем не нарушаемой неприязни? Тщеславная, подозрительная, властная, злопамятная, она лезла во все дырки, считала свое мнение единственно правильным и была чудовищно невежественна (но не глупа! – даже я это понимал). У меня с ней не связано никакого, ни одного-единственного теплого воспоминания. Никогда не было такого, чтобы я гордился ею, никогда у меня не мелькала мысль: «Как хорошо, что у меня такая мама!» У нее был ядовитый язык и всегда наготове язвительное слово в чей угодно адрес – кроме папы и сестры.

Я любил тетю Ханю, сестру отца, такую милую, с неистощимым запасом душевного тепла, ее сосиски гриль, завернутые в ломтики колбасы, ее несравненный штрудель (рецепт навсегда утерян, поскольку сын Хани отказался им поделиться – впрочем, это уже другая история). Больше всего я любил Ханю по воскресеньям. В этот день ее магазинчик-закусочная, расположенный возле вашингтонской военно-морской верфи, не работал. Ханя ставила автомат для игры в пинбол на бесплатный режим и разрешала мне играть часами. Она не возражала, когда я подсовывал сложенные бумажки под передние ножки стола, чтобы шары катились медленнее, и я набирал больше очков. Мое благоговение перед Ханей приводило маму в бешенство, она постоянно раздражалась злобными тирадами в адрес своей золовки. У мамы сложился традиционный перечень Ханиных прегрешений: бедность, нежелание работать в лавке, отсутствие деловой сметки, муж-лодырь, отсутствие гордости и готовность принимать в дар поношенные вещи.

По-английски мама говорила ужасно, с чудовищным акцентом и густой примесью идиша. Она никогда не приходила ко мне в школу, ни на день открытых дверей, ни на родительские собрания. И слава богу! Меня коржило от одной мысли, что мне пришлось бы представлять ей своих друзей. Я ссорился с мамой, демонстративно не слушался ее, кричал на нее, избегал ее и, наконец, уже подростком, вообще перестал с ней разговаривать.

Величайшая загадка моего детства – как папа ее терпел? Помню моменты счастья – воскресное утро, мы с ним играем в шахматы, папа весело подпевает пластинке с русскими или еврейскими песнями, качая головой в такт музыке. Но всегда наступает момент, когда утренний воздух разлетается на куски от маминого пронзительного крика со второго этажа: «*Гевалт, гевалт*, хватит! *Вейзмир*, хватит этой музыки, хватит шума!» Отец без единого слова встает, выключает фонограф, и мы продолжаем нашу игру в тишине. Сколько раз я молился про себя: «Ну, папочка, ну, пожалуйста, заткни ее, хоть один раз!»

Так почему я машу ей? И что это мне вдруг под конец жизни вздумалось спрашивать: «Я молодец, мама?» Неужели – и эта мысль бьет меня как обухом по голове! – я всю жизнь жил напоказ, ради одного зрителя – этой презренной женщины? Всю жизнь я пытался сбежать, удрать от прошлого – от местечковости, от третьего класса, от гетто, талесов¹, пения молитв, черных костюмов, бакалейной лавки. Всю жизнь я тянулся к освобождению и росту. Возможно ли, что мне не удалось убежать ни от прошлого, ни от матери?

Как я завидовал своим друзьям, у которых были матери – милые, умеющие держаться в обществе, всегда готовые помочь. И как я удивлялся, почему эти друзья не привязаны к своим

¹ Талес (или талит) – иудейское молитвенное покрывало (обычно белое с черными или синими полосами по краям; мужчины покрывают им голову и плечи во время молитвы). – Прим. ред.

матерям – не звонят, не навещают, не видят их во сне, даже не часто думают о них. А вот мне приходится силой выкидывать маму из головы много раз на дню, и даже сейчас, когда ее уже десять лет нет на свете, я машинально тянусь к телефону – позвонить ей.

Ну хорошо, умом я все это понимаю. Я даже лекции читал на эту тему. Я объясняю своим пациентам, что детям, которых в детстве обижали, часто трудно отделиться от своих дисфункциональных семей, в то время как дети хороших, любящих родителей вырастают и уходят гораздо легче. В конце концов, главная задача хорошего родителя – помочь ребенку уйти из дома, ведь верно?

Я все понимаю, но не могу смириться. Я не хочу, чтобы мама навещала меня каждый день. Для меня невыносимо, что она так вплелась во все волокна моего мозга, что мне уже никогда не удастся выполоть ее окончательно. А самое невыносимое – что под конец жизни я вынужден спрашивать: «Я молодец, мама?»

Помню ее большое мягкое кресло в доме престарелых в Вашингтоне. Оно частично загромождало дверь в ее квартирку, а по бокам его, как стражи, стояли два стола, на которых лежали стопками книги – все, которые я когда-либо написал, а некоторые и не по одному экземпляру. Больше десятка книг, да еще десятка два переводов на другие языки – стопки опасно кренились. Я часто воображал себе: один подземный толчок средней силы – и маму накроет обвалом книг, написанных ее единственным сыном.

Когда бы я ни пришел, я заставлял ее в этом кресле, с двумя-тремя моими книгами на коленях. Она их пробовала на вес, нюхала, гладила – но не читала. Сейчас она была почти слепая. Но и раньше, когда зрение еще не изменило ей, она бы в них ничего не поняла: ее единственным образованием были курсы натурализации, которые она должна была пройти, чтобы стать гражданкой США.

Я – писатель. А мама не может читать. И все равно, чтобы найти смысл трудов всей своей жизни, я иду к маме. Как она должна мерить мои труды? По весу, по тяжести моих книг? По картинкам, по тефлоновой гладкости суперобложек, словно жирной на ощупь? Все мои неустанные исследования, вдохновение, скрупулезный поиск нужной мысли, ускользающий поворот красивой фразы – ничто из этого ей не знакомо.

В чем смысл жизни? Смысл *моей* жизни? В тех самых книгах, стопки которых кренились у мамы на столе, содержатся многозначительные ответы на эти вопросы. «Нам по природе свойственно искать смысл, – писал я, – и нам приходится считаться с тем неудобным фактом, что нас забросили во вселенную, которая изначально бессмысленна». И поэтому, объяснял я дальше, чтобы избежать отрицания всего и вся, мы вынуждены брать на себя сразу две задачи. Сначала – придумать или найти дело, в котором для нас будет заключаться смысл жизни, – достаточно жизнеспособное, чтобы нам его хватило на всю жизнь. А потом мы должны умудриться заставить себя забыть о том, что мы его придумали, и внушить себе, что это дело – совсем и не наше изобретение, что оно существует независимо от нас, где-то там, а мы просто его обнаружили.

Я притворяюсь, когда говорю, что принимаю выбор каждого человека и не сужу его. Втайне я делю все жизненные пути на медные, серебряные и золотые. Некоторыми людьми всю жизнь движет стремление отомстить кому-то, восторжествовать; другие, спеленутые отчаянием, мечтают лишь о покое, одиночестве, о том, чтобы не было больно; третьи посвящают жизнь поискам успеха, процветания, власти, истины; четвертые хотят переступить через себя и раствориться в чем-нибудь или ком-нибудь: любимом человеке или божественной сущности. Есть и пятые, которые находят смысл своей жизни в служении, в самоактуализации, в творчестве.

«Чтобы не погибнуть от истины, – сказал Ницше, – у нас есть искусство». Поэтому золотым путем я считаю творчество, поэтому я превратил всю свою жизнь, весь опыт, все фантазии

в преющую компостную кучу, на которой время от времени пытаюсь вырастить что-нибудь новое и прекрасное.

Но мой сон говорит о другом. Он утверждает, что на самом деле я всю жизнь преследовал совершенно другую цель – заслужить одобрение покойной мамы.

Этот сон как приговор: он слишком силен, чтобы его игнорировать, и слишком болезнен, чтобы о нем забыть. Но я знаю, что сны не такие уж неумолимые, они поддаются объяснению и изменению. Я вожусь со снами почти всю жизнь. Я умею их приручать, разбирать на части и собирать заново. Я знаю, как выжать из них секреты...

И вот я опять роняю голову на подушку и улываю, перематывая сон обратно к вагончику «Пещеры ужасов».

Вагончик резко останавливается, меня прижимает к железной скобе. Еще миг, и он начинает двигаться назад, медленно проезжает меж хлопающих створок дверей и снова окунается в солнечный свет парка Глен Эко.

– Мама, мама! – кричу я, размахивая руками. – Я молодец?

Она меня слышит. Я вижу, как она проталкивается через толпу, распахивая людей направо и налево.

– Извин, что за вопрос, – говорит она, отцепляя скобу и вытаскивая меня из вагончика.

Я смотрю на нее. На вид ей лет пятьдесят или шестьдесят, она, крепкая, коренастая, без видимого усилия несет большую, битком набитую хозяйственную сумку с вышивкой и деревянными ручками. Мама неказиста, но не знает этого и выступает, задрав подбородок, словно красавица. Вижу знакомые складки плоти на руке чуть выше локтя и чулки, скомканные и подвязанные чуть выше колен. Она влепляет мне крепкий мокрый поцелуй. Я симулирую взаимность.

– Ты молодец! Большого и желать нельзя. Столько книг. Я тобой горжусь. Если б только твой папа это видел.

– Мама, откуда ты знаешь, что я молодец? Откуда тебе знать? Ты же не можешь прочесть то, что я написал... ты плохо видишь...

– Уж что я знаю, то знаю. Ты только погляди на эти книги.

Она открывает свою хозяйственную сумку, достает две мои книги и нежно гладит их.

– Большие книги. Красивые.

Я смотрю, как она гладит их, и мне становится не по себе.

– Важно, что внутри. Может, там одна чепуха.

– Извин, не говори *narishkeit* – глупостей. Прекрасные книги!

– Мама, что ты их все время таскаешь с собой, даже в Глен Эко? Как будто святилище какое-то устроила. Ты же не думаешь, что...

– Про тебя все знают. Весь мир. Моя парикмахерша говорит, ее дочка проходит твои книги в школе.

– Парикмахерша? Ну, конечно, она – главная специалистка!

– Все говорят. Я всем говорю. Почему бы нет?

– Мама, тебе что, делать больше нечего? Почему бы тебе не сходить в воскресенье к друзьям? К Хане, Герти, Любе, Дороти, Сэму, к твоему брату Саймону? Что ты вообще делаешь в Глен Эко?

– Тебе что, стыдно, что я тут? Ты всегда меня стеснялся. А где мне еще быть?

– Мама, я вот что хочу сказать... мы оба взрослые люди. Мне уже за шестьдесят. Может, нам уже хватит видеть одни сны на двоих.

– Ты всегда меня стыдил.

– Я этого не говорил. Ты меня не слушаешь.

– Всегда думал, что я глупая. Всегда думал, что я ничего не понимаю.

– Я этого не говорил. Я говорил, что ты знаешь не все. Просто ты никогда... никогда...

– Что я никогда? Ну, говори. Раз уж начал. Я знаю, что ты собираешься сказать.

– А что я собираюсь сказать?

– Нет, Извин, ты уж сам скажи. Если я скажу, ты все переиначишь.

– Ты никогда меня не слушаешь. Ты вечно говоришь о вещах, о которых ничего не знаешь.

– Я тебя не слушаю? Я тебя не слушаю?! Скажи, Извин, а ты-то меня слушаешь? Ты-то про меня что-нибудь знаешь?

– Ты права, мама. Мы оба не умеем друг друга слушать.

– Нет уж, Извин. Я-то умею слушать, еще как умею.

Я каждую ночь слушала тишину – как приходила домой с лавки, а ты из своего кабинета даже на второй этаж подняться не мог. Ни здрасти сказать. Ни спросить, может, я устала за день. Как я могла тебя слушать, если ты со мной не разговаривал?

– Мне что-то не давало. Между нами как будто стенка была.

– Стенка? Хорошенькие вещи ты говоришь матери. Стенка. Я ее строила?

– Я этого не говорил. Только сказал, что стенка была. Я знаю, что отдалился от тебя. Почему? Не помню, мама, это было пятьдесят лет назад. Но я чувствовал: все, что ты мне говорила, было с подтекстом.

– *Вос?* Текстом?

– Я имею в виду то, что ты всегда была недовольна. Мне приходилось держаться подальше, чтобы ты меня не критиковала. Я в те годы и так-то себя не очень уверенно чувствовал и уж точно не нуждался в твоей критике.

– Почему это ты себя неуверенно чувствовал? Все эти годы мы с папой работали в магазине, чтобы ты мог учиться. До полуночи работали. А сколько раз ты мне звонил и просил тебе что-нибудь принести? Карандаши, бумагу... Помнишь Эла? Из винного магазина. Ему еще лицо порезали во время ограбления.

– Конечно, помню, мама. У него был шрам во весь нос.

– Ну вот, Эл подходил к телефону и всегда орал на весь магазин: «Это принц! Принц звонит! А чего бы принцу самому не сходить за карандашами? Ему не вредно размяться». Элу просто было завидно: ему-то родители ничего не давали. И я никогда и не обращала на него внимания, пусть себе. Но он был прав: я тебя воспитала как принца. Когда бы ты ни позвонил – днем или ночью, – я бросала папу одного, даже если в лавке было полно покупателей, и мчалась на соседнюю улицу, к Меншу, в магазинчик «Все за 5 и 10 центов». И марки тебе были нужны. И тетради. И чернила. А потом и шариковые ручки. У тебя вся одежда была в чернилах. Ровно принц... И никакой критики.

– Мама, мы с тобой начали разговаривать. Это уже хорошо. Давай не будем друг друга обвинять. Давай попробуем понять друг друга. Скажем так: я чувствовал, что ты меня критикуешь. Я знаю, что другим ты говорила про меня только хорошее. Хвалилась мной. Но мне ты никогда ничего такого не говорила. В лицо.

– Извин, с тобой тогда не так уж и просто было говорить. Не только мне – всем. Ты все знал. Ты все читал. Люди тебя, скорее, немножко побаивались. Может, я тоже. *Фервейс?* Кто знает? Но вот что я тебе скажу, Извин. Мне приходилось куда хуже твоего. Во-первых, ты про меня тоже ничего хорошего не говорил. Я вела хозяйство. Я тебе готовила. Ты двадцать лет ел то, что я готовила. Было вкусно, я знаю. Откуда знаю? Да потому что ничего не оставалось ни на тарелках, ни в кастрюлях. Но ты ни разу не сказал, что вкусно. Ни разу в жизни. А? Хотя бы раз сказал?

Я молчу и только все ниже склоняю голову от стыда.

– И вот еще что. Я знала, что за моей спиной ты ничего хорошего про меня не говоришь. Ты знал, что я хвалюсь тобой за глаза – у тебя хоть это было. А я знала, что ты меня стыдился. Все время стыдился, и при мне, и без меня. Стыдился моего английского и моего акцента.

Всего, что я не знала. И всего, что я говорила неправильно. Я слыхала, как вы с друзьями надо мной смеялись – Джулия, Шелли, Джерри. Я все слыхала. А?

Я еще ниже опускаю голову.

– Ты всегда все замечала.

– Откуда мне знать то, что написано в твоих книгах? Если бы у меня были такие возможности, если бы я могла ходить в школу, чего бы я только не добилась своей головой, своим *saychel*! Но в России, в нашем местечке я не могла ходить в школу – туда пускали только мальчиков.

– Я знаю, мама. Я знаю, ты бы училась не хуже меня, если бы у тебя была возможность.

– Я приехала сюда с мамой и папой. Мне было только двадцать лет. Я шесть дней в неделю работала на швейной фабрике. По двенадцать часов в день. С семи утра до семи вечера, иногда до восьми. А за два часа до того, как идти на работу, в пять утра, мне надо было провожать папу к его газетному киоску у метро и помогать ему раскладывать газеты. Братья никогда не помогали. Саймон учился на бухгалтера. Хайми водил такси – домой он не приходил и денег не присылал. А потом я вышла замуж за твоего отца и переехала в Вашингтон, и там до старости работала вместе с ним в лавке, и дом убирала, и готовила. А потом родилась Джин, с ней не было ни минуты забот. А потом родился ты. И с тобой было ох как непросто. А я ведь не переставала работать. И ты это видел! Ты знаешь! Ты слышал, как я бегаю вверх-вниз по лестнице. Скажешь, я вру?

– Мама, я знаю.

– И все эти годы я поддерживала твоих дедушку и бабушку, пока они были живы. У них ведь ничего не было – гроши от газетного киоска. Потом мы открыли для дедушки кондитерскую лавку, но он не мог работать, ведь мужчинам надо молиться. Ты помнишь дедушку?

Я киваю.

– Что-то помню...

Мне, наверное, года четыре или пять... Многоквартирный дом в Бронксе, там пахнет кислым... Я кидаю с пятого этажа хлебные крошки и шарики из фольги – курам, которые роются во дворе... Дедушка весь в черном, в высокой черной ермолке, клокастая седая борода в пятнах соуса, руки и лоб обмотаны черными шнурами... он бормочет молитвы. Мы не можем общаться – он говорит только на идише. Но очень больно щиплет меня за щеку. Все остальные – бабушка, мама, тетя Лена – работают... Бегают весь день вверх-вниз по лестнице, в магазин, упаковывают, распаковывают, готовят, ощипывают кур, чистят рыбу, вытирают пыль. А дедушка и пальцем не шевелит. Сидит и читает. Как король.

– Каждый месяц, – продолжает мама, – я садилась на поезд, ехала в Нью-Йорк, везла им еду и деньги. А потом, когда бабушка была уже в доме престарелых, я платила за ее содержание и навещала ее там – раз в две недели, – ты должен помнить, я иногда брала тебя с собой. Кто еще из родных помогал? Да никто! Твой дядя Саймон приходил раз в несколько месяцев и приносил бутылку «Севен Ап». А в следующий раз, когда я к ней приходила, я только и слышала что про дивный «Севен Ап» Саймона. Даже когда она совсем ослепла, она лежала и не выпускала из рук пустую бутылку из-под «Севен Ап». И я не только бабушке помогала, а всей семье – моим братьям Саймону и Хайми, сестре Лене, тете Хане, твоему дяде Эйбу, которого я недавно привезла из России – всем, всей семье, вся семья кормилась с этой *shmutzig*, грязной маленькой бакалейной лавчонки. И мне никто никогда не помогал. Никогда! И никто ни разу не сказал мне спасибо.

Я делаю глубокий-глубокий вдох и произношу:

– Я скажу, мама. Спасибо.

Не очень трудно. Почему же мне для этого понадобилось пятьдесят лет? Я держусь за ее руку – может, впервые в жизни. За мясистую часть повыше локтя. Она на ощупь мягкая и теплая – немножко похожа на мамино тесто для *kichel* перед тем, как его посадят в печь.

– Я помню, как ты рассказывала нам с Джин про «Севен Ап» Саймона. Конечно, тебе было очень обидно.

– Обидно? Не то слово! Иногда она пила этот «Севен Ап», закусывая его моим *kichel*, и не переставая говорила только про «Севен Ап». А ты ведь знаешь, сколько труда уходит на *kichel*.

– Мама, я так рад, что мы разговариваем. Первый раз в жизни. Может быть, я всегда этого хотел, и поэтому ты не уходишь у меня из головы и из снов. Может быть, теперь все будет по-другому.

– По-другому – это как?

– Ну... я смогу быть в большей степени сам собой... чтобы жить ради тех целей и дел, которые я сам себе выберу.

– Ты хочешь от меня отделаться?

– Нет... ну, не в этом смысле, в хорошем смысле. Я и для тебя хочу того же самого. Я хочу, чтобы ты могла отдохнуть.

– Отдохнуть? Ты когда-нибудь видел, чтобы я отдыхала? Твой папочка каждый день ложился поспать после обеда. Ты хоть раз видел, чтобы я спала среди дня?

– Я хочу сказать, что у тебя должна быть своя цель в жизни – а не *это*, – я тыкаю пальцем в ее хозяйственную сумку. – Не мои книги! И у меня должна быть моя собственная цель.

– Но я же только что объяснила, – отвечает она, перекладывая сумку в другую руку, подальше от меня. – Это не только твои книги. Это и мои книги!

Я все еще крепко держусь за ее руку, но теперь она почему-то оказывается холодной, и я разжимаю пальцы.

– Что значит «у меня должна быть своя цель в жизни»? – продолжает она. – Эти книги и есть моя цель. Я работала ради тебя – и ради них. Всю жизнь я работала на эти книги, на мои книги.

Она лезет в сумку и вытаскивает еще две книги. Я морщусь, потому что боюсь, что она сейчас поднимет их над головой и начнет демонстрировать небольшой толпе зевак, которая уже собралась вокруг нас.

– Мама, ты не понимаешь. Нам надо разделиться – мы сковываем друг друга. Это нужно, чтобы стать личностью. Об этом я и писал во всех этих книгах. И я хочу того же самого для моих собственных детей, для всех детей. Быть без оков.

– *Вос мейнен* – еаков?

– Нет, нет, «без оков» – это значит, чтобы их ничто не сковывало, чтобы они были свободны. Как же мне лучше объяснить? Скажем, так: каждый человек, по природе своей, одинок. Это тяжело, но это так на самом деле, и нам нужно научиться с этим жить. Поэтому я хочу, чтобы у меня были свои собственные мысли и свои собственные сны. А у тебя – свои. Мама, уйди из моих снов!

На ее лице застывает строгое выражение, и она делает шаг назад. Я торопливо продолжаю:

– Не потому, что я тебя не люблю, а потому, что я хочу, чтобы нам обоим было хорошо – и тебе, и мне. У тебя должны быть свои собственные сны в этой жизни. Уж это-то ты точно можешь понять.

– Игвин, ты по-прежнему думаешь, что ты все понимаешь, а я ничего не понимаю. Но я тоже смотрю в жизнь. И в смерть. Я понимаю про смерть больше твоего. Поверь мне. И про одиночество понимаю больше твоего.

– Но, мама, тебе же не приходится жить в одиночестве. Ты все время со мной. Ты не оставляешь меня. Ты бродишь в моих мыслях. В моих снах.

– Нет, сынок.

«Сынок»! Меня так не называли лет пятьдесят. Я уж и забыл, что она и папа иногда меня так звали.

– Сынок, все совсем не так, как ты думаешь, – продолжает она. – Некоторых вещей ты не понимаешь, кое-что у тебя повернуто с ног на голову. Ты знаешь тот сон, где я стою в толпе и смотрю, как ты в вагончике машешь мне, зовешь, спрашиваешь, удалась ли твоя жизнь?

– Мама, ну конечно же, я помню свой сон. С него же все и началось.

– *Твой* сон? Вот это я и хотела тебе сказать. Ты ошибаешься, Извин – ты думаешь, что я была в *твоем* сне. Это был *не* твой сон, сынок. Это был *мой* сон. Матерям тоже снятся сны.

Странствия с Полой

Когда я был студентом-медиком, меня учили высокому искусству – смотреть, слушать, прикасаться. Я смотрел на алые гортани, выпирающие барабанные перепонки, змейки кровавых ручейков в сетчатке глаза. Слушал шипение сердечных шумов, бульканье труб кишечника, какофонию респираторных хрипов. Ощущал скользкие края печени и селезенки, упругость кист яичника, мраморную твердость рака простаты.

В университете меня учили *изучать пациентов*. А вот *учиться у пациентов* я стал гораздо позже, на другой стадии своего образования. Возможно, это началось с моего профессора, Джона Уайтхорна, который часто говорил: «Слушайте своих пациентов; учитесь у них. Чтобы поумнеть, нужно вечно учиться». И он имел в виду больше, чем банальную истину, что хороший слушатель узнает о пациенте гораздо больше. Он в буквальном смысле предписывал нам учиться у пациентов.

Джон Уайтхорн – чопорный, неуклюжий, вежливый, с блестящей лысиной, окаймленной коротко стриженным полумесяцем седых волос, – тридцать лет руководил факультетом психиатрии университета Джонса Хопкинса и делал это безупречно. Он носил очки в золотой оправе, и у него не было ни одной лишней черты – ни одной морщинки: ни на лице, ни на коричневом костюме, в котором он ходил каждый день (мы подозревали, что у него в гардеробе два или три одинаковых костюма). Лишней мимики и жестов у него тоже не было. Когда он читал лекцию, двигались только его губы, все остальное – руки, щеки, брови – оставалось удивительно неподвижным.

На третьем году моей ординатуры в психиатрической клинике мы – я и пять моих однокурсников – каждый четверг во второй половине дня делали обход вместе с профессором Уайтхорном. А до этого мы обедали у него в кабинете, отделанном дубовыми панелями. Еда была простая и всегда одна и та же – сэндвичи с тунцом, мясной нарезкой и холодными крабовыми котлетками, за ними следовал фруктовый салат и пекановый пирог, – но подавалась она всегда с южной элегантностью: льняная скатерть, сверкающие серебряные подносы, английский тонкостенный фарфор. За обедом мы долго и неспешно беседовали. Хотя нам всем нужно было делать обходы, хотя пациенты требовали неотложного внимания, поторопить доктора Уайтхорна нам не удавалось, и в конце концов даже я, самый гиперактивный из всей группы, научился говорить времени «подожди».

В эти два часа мы могли задавать профессору любые вопросы. Помню, я спрашивал его о таких вещах, как происхождение паранойи, ответственность врача за самоубийство пациента, несоответствие между возможной излечимостью пациента в результате терапии и спущенной сверху предопределенностью. Профессор отвечал подробно, но не скрывал, что предпочитает другие темы: меткость персидских лучников, достоинства и недостатки греческого и испанского мраморов, грубые промахи, допущенные в битве при Геттисберге, усовершенствованная самим профессором периодическая таблица элементов (по первому образованию он был химик).

После обеда д-р Уайтхорн принимал в том же кабинете четырех или пятерых своих пациентов, а мы молча наблюдали. Невозможно было заранее предсказать, насколько затянется каждая беседа. Иные длились пятнадцать минут, другие продолжались – два-три часа. Ясней всего я помню летние месяцы, прохладный затемненный кабинет, оранжевые и зеленые полосы на парусине тента, закрывающего свирепое балтиморское солнце, опоры тента, обвитые магнолией, мохнатые цветки которой свисали прямо за окном. Из углового окна можно было разглядеть край теннисного корта для сотрудников клиники. У меня ныло под ложечкой, так мне хотелось поиграть. Я ерзал, представляя себе подачи и удары с лета, а тени на корте все росли

и росли. И лишь когда сумрак проглатывал последние полосы корта, я оставлял надежду поиграть и полностью переключался на беседу д-ра Уайтхорна с пациентами.

Он не торопился. У него было много времени. Больше всего на свете его интересовали профессия и любимые занятия пациента. В один из четвергов воодушевленный вопросами профессора южноамериканский плантатор целый час рассказывал о кофейных деревьях, а через неделю это мог быть профессор истории, рассказывающий о гибели Великой Армады. Можно было подумать, что для доктора Уайтхорна нет важнее задачи, чем понять взаимосвязь между высотой над уровнем моря и качеством кофейных бобов, или узнать, какая политическая подоплека шестнадцатого века стояла за Великой Армадой. Он так незаметно перемещался в личную сферу рассказчика, что я всегда изумлялся, когда пациент-параноик, подозревающий все и вся, вдруг начинал откровенно говорить о себе и своем психотическом мире.

Позволяя пациентам обучать его, доктор устанавливал контакт с личностью, а не с болезнью пациента. Его стратегия неизменно подкрепляла как самооценку пациента, так и его желание открыться.

Казалось бы, лукавый собеседник. И все же никакого лукавства. Не было двуличия и лживости: доктор Уайтхорн искренне желал учиться. Он был собирателем, и таким способом за многие годы накопил поразительное богатство любопытных фактов. «Вы только выиграете, и ваши пациенты тоже, – говорил он, – если вы позволите им достаточно долго рассказывать о своих жизнях, своих интересах. Узнайте, как они живут, – и вы не только приобретете новые знания, но в конце концов узнаете все, что нужно, об их болезни».

Через пятнадцать лет, в начале семидесятых – когда д-р Уайтхорн уже умер, а я стал профессором психиатрии – женщина по имени Пола, больная раком груди, вошла в мою жизнь, чтобы довершить мое образование.

Я убежден, что она с самого начала взяла на себя роль моей наставницы, хотя тогда я об этом не знал, а она этого никогда так и не признала.

Пола записалась на прием, узнав от социального работника онкологической клиники, что я хочу создать терапевтическую группу для неизлечимых пациентов. Когда Пола впервые вошла в мой кабинет, меня сразу поразила ее внешность: достоинство осанки, сияющая улыбка, которая заставила меня собраться, копна коротких, жизнерадостно-мальчишеских, ослепительно-белых волос, и что-то такое, что я могу назвать лишь сиянием, казалось, исходило от ее мудрых, жгуче-синих глаз.

Она приковала мое внимание первыми же словами.

– Меня зовут Пола Уэст, – сказала она. – У меня рак в терминальной стадии. Но я не раковая пациентка.

И действительно, на протяжении всего пути рядом с ней, в течение многих лет, я никогда не воспринимал ее как пациентку. Она продолжила коротко и точно описывать свою историю болезни: рак груди, обнаруженный пять лет назад; хирургическое удаление этой груди; рак другой груди, удаление и этой груди тоже. Затем химиотерапия со всем ужасным комплектом: тошнота, рвота, полная потеря волос. А потом лучевая терапия, до максимального уровня, до предела. Но ничто не могло остановить продвижение рака: в череп, позвоночник, глазницы. Рак Пола требовал пищи, и хотя хирурги все время швыряли ему жертвенные подношения – груди, лимфоузлы, яичники, надпочечники, – он был ненасытен.

Воображая себе обнаженное тело Пола, я видел грудную клетку, исполосованную шрамами, без грудей, без плоти, без мускулов, словно шпангоуты выброшенного на берег галеона, а ниже, под грудью, живот с рубцами от операций, и все это покоится на толстых, бесформенных, утолщенных стероидной терапией бедрах. Короче говоря, пятидесятипятiletняя женщина без грудей, надпочечников, яичников, матки и, я уверен, без либидо.

Мне всегда нравились женщины с упругими, грациозными телами, полной грудью и явной чувственностью. Но когда я встретил Полу, случилась удивительная вещь: я счел ее прекрасной и влюбился.

Мы встречались раз в неделю на протяжении нескольких месяцев, на основании не отвечающего никаким нормам контракта. Сторонний наблюдатель мог бы назвать это психотерапией, потому что я записывал Полу к себе в журнал приема, а она садилась в кресло, предназначенное для пациентов, и проводила там ритуальные пятьдесят минут. И все же наши роли были размыты. Например, никогда не возникал вопрос об оплате. С самого начала я знал, что у нас не обычный терапевтический контракт между больным и врачом, и я никогда не спешил упоминать о деньгах в присутствии Полы: это было бы вульгарно. И не только о деньгах, но и о других столь же неделикатных темах – плотской жизни, адаптации в браке, светских отношениях.

Жизнь, смерть, духовность, покой, трансцендентность – вот о чем мы говорили. Это единственное, что заботило Полу. Больше всего мы говорили о смерти. Ежедневно в моем кабинете встречались не двое, а четверо: я, Пола и две смерти – ее и моя. Она стала для меня любовницей смерти, познакомила меня с ней, научила меня думать о ней и даже помогла с ней подружиться. Я начал понимать, что смерть была оболгана прессой. Понимать, что, хоть в смерти и мало радости, она вовсе не чудовищное зло, швыряющее нас в какое-то невообразимо ужасное место. Я научился демифологизировать смерть, дабы увидеть ее в истинном свете – как событие, как часть жизни, как конец дальнейших возможностей. «Это нейтральное событие, – говорила Пола, – а мы научились окрашивать его страхом».

Каждую неделю Пола входила в мой кабинет, вспыхивала широкой улыбкой, которую я обожал, тянулась к своей большой соломенной сумке, извлекала из нее дневник, клала его на колени и делилась со мной образами, размышлениями и снами прошедшей недели. Я вслушивался и пытался реагировать адекватно. Каждый раз, когда я выражал сомнения в том, что полезен ей, Пола озадачивалась, а потом через мгновение уже улыбалась, как бы ободряя меня, и вновь возвращалась к своему дневнику.

Вместе мы заново пережили всю ее схватку с раком: первоначальный шок и неверие, телесные увечья и постепенное приятие. Со временем она привыкла говорить: «У меня рак». Она рассказывала о том, как любовно ухаживали за ней муж и близкие друзья. Это я мог понять: ведь Полу трудно было не любить. (Конечно, я открылся ей в своей любви гораздо позже, но Пола мне не поверила.)

Потом она рассказывала об ужасных днях, когда рак возвращался. «Это мой путь на Голгофу, – говорила она, – а испытания, которые переживают все пациенты с рецидивами, – это остановки на крестном пути: кабинеты лучевой терапии, где над тобой нависает всевидящее око из страшного суда, безликий торопливый персонал, смущенные друзья, равнодушные доктора и самое страшное – оглушительная тишина секретности». Она плакала, рассказывая, как позвонила своему хирургу, который на протяжении двадцати лет был ее другом, и медсестра сообщила ей, что доктор больше ее не примет, потому что ничем не может помочь. «Что такое с врачами? Почему они не могут понять, насколько важно просто быть рядом? – спрашивала Пола. – Почему не осознают, что именно в момент, когда они уже ничего не могут сделать, они и нужны больше всего?»

Я узнал от Полы, что ужас перед смертельной болезнью многократно усиливается отчужденностью других людей. Дурацкий спектакль, исполняемый теми, кто пытается замаскировать приближение смерти, усугубляет изоляцию умирающего пациента. Но смерть нельзя спрятать, она обнаруживает себя повсюду: медсестры говорят приглушенными голосами, доктора во время обхода начинают уделять много внимания совсем другим частям тела, студенты-медики входят в палату на цыпочках, члены семьи героически улыбаются, посетители старательно изображают жизнерадостность. Одна раковая больная рассказала мне, что узнала о том, что

скоро умрет, когда лечащий врач вдруг закончил ее осмотр не обычным игривым шлепком по попе, а теплым рукопожатием.

Много страшнее смерти для умирающего человека полная изоляция, которая сопровождает ее. Мы пытаемся идти по жизни парами, но умираем в одиночку – никто не может умереть вместе с нами или вместо нас. Живые избегают умирающих, отчуждаются от них, и это служит прообразом окончательной – смертельной – отчужденности и изоляции. «Есть два проявления предсмертной изоляции, – учила меня Пола. – Когда пациент отсекает себя от живущих, потому что не хочет втаскивать семью и друзей в свой собственный ужас, открывая им свои страхи или зловещие мысли. И когда друзья сторонятся умирающего, потому что чувствуют себя беспомощными, неловкими, не знают, что говорить и делать, боятся подойти слишком близко и увидеть предвестие собственной смерти».

Но изоляция Полы кончилась. Даже если я ей ничем не смогу помочь, уж верен ей я буду точно. Пусть другие ее покинули – я ее не покину. Как хорошо, что она меня нашла! Разве я мог знать, что настанет время, когда Пола сочтет меня своим Петром, многожды отрехшимся от нее?

Она не могла найти подходящих слов, чтобы описать горечь от переживания изоляции и одиночества, рассказать о периоде, который она часто называла своим Гефсиманским садом. Однажды она принесла мне литографию работы своей дочери, где несколько стилизованных силуэтов побивали камнями святую – крохотную, скорченную фигурку женщины, чьи тонкие руки не могли противостоять граду камней. Эта картина до сих пор висит у меня в кабинете, и каждый раз, глядя на нее, я вспоминаю слова Полы: «Я – эта женщина, бессильная предотвратить свою смерть».

Выбраться из Гефсиманского сада Поле помог священник епископальной церкви. Знакомый с мудрым афоризмом из «Антихриста» Ницше: «Тот, кто знает, ЗАЧЕМ жить, может вынести любое КАК», священник помог ей воспринять страдание по-другому. «Твой рак – это твой крест, – сказал он ей. – Твое страдание – это служение».

Эта формулировка – «божественное озарение», как назвала ее Пола, – все изменила. Пола рассказывала и о том, как научилась принимать свое служение, и о взятой на себя задаче – облегчать страдание людей, больных раком. И я начал понимать свою роль: это не Пола – объект моей работы, а я – объект ее работы, ее служения. Я мог ей помочь, но не поддержкой, не интерпретацией и даже не заботой или верностью. Моя роль заключалась в том, чтобы позволить себя учить.

Возможно ли, что человек, чьи дни сочтены, чье тело изъедено раком, может проживать «золотые дни»? Для Полы – возможно. Именно она открыла мне, что честное принятие смерти обогащает восприятие жизни, усиливает удовлетворение от нее. Я отнесся к этому скептически. Я подозревал, что значение слов о «золотых днях» преувеличено – типичные для Полы красивые слова о духовности.

– Золотые? В самом деле?! Пола, посуди сама, что «золотого» в умирании?

– Ирв, – укорила меня Пола, – это неправильный вопрос. Попробуй понять, что «золото» – не в умирании, а в том, чтобы жить полной жизнью перед лицом смерти. Подумай, как остры и драгоценны последние впечатления: последняя весна, последний полет пушинок одуванчика, последнее облетание лепестков глицинии. И еще, – говорила Пола, – золотой период – это время великого освобождения. Это время, когда ты можешь сказать «нет» всем этим банальным обязательствам и посвятить себя тому, что тебе дороже всего, – общению с друзьями, смене времен года, игре морских волн.

Пола резко критиковала работы Элизабет Кюблер-Росс, «верховной жрицы смерти» от медицины, которая, ничего не зная о золотой стадии, выработала негативистский клинический подход к смерти. Стадии умирания в формулировке Кюблер-Росс – отрицание, гнев, попытки «заключить сделку с судьбой», депрессия, принятие – каждый раз сердили Полу. Она настаи-

вала, и я уверен в ее правоте, что такое жесткое разделение эмоциональных реакций на категории дегуманизирует и пациента, и врача.

Золотой период Полы был временем глубокого и напряженного изучения себя самой: ей снилось, что она бродит по огромным залам, что обнаруживает у себя в доме новые, ранее не используемые комнаты. И еще этот период был временем подготовки: ей снилось, что она убирает дом, от подвала до чердака, наводит порядок в письменных столах и шкафах. Она эффективно, заботливо подготавливала и своего мужа. Временами она чувствовала себя лучше и могла бы в это время ходить за покупками, готовить, но намеренно не делала этого, чтобы муж научился сам себя обслуживать. Однажды она рассказала мне, что очень гордится им, потому что он впервые сказал «когда я буду на пенсии» вместо «когда мы будем на пенсии». Во время таких разговоров я сидел с круглыми глазами и не верил своим ушам. Да правду ли она говорит? Может ли такая добродетель существовать вне диккенсовского мира, где живут Пеготти, крошка Доррит, Том Пинч и Боффины? В литературе по психиатрии редко обсуждается такая черта личности, как добродетель, разве что иногда ее называют защитой личности от темных низких импульсов, и сначала я сомневался в мотивах Полы и пытался незаметно нащупать бреши и вмятины в этой маске святости. Но ничего не найдя, я вынужден был заключить, что это не маска, прекратить поиски и погрузиться в источаемую Поллой благодать.

Пола была уверена, что подготовка к смерти жизненно необходима и требует целенаправленного внимания. Узнав, что рак распространился на позвоночник, Пола подготовила тринадцатилетнего сына к своей смерти, написав ему письмо. Оно тронуло меня до слез. В последнем абзаце она говорила, что у человеческого зародыша легкие не дышат, а глаза не видят. Так эмбрион готовится к существованию, которое пока не может себе вообразить. «И мы тоже, – рассуждала она, – разве не готовимся к существованию, которое по ту сторону нашего познания, по ту сторону даже наших фантазий?»

Я никогда не понимал верующих людей. Сколько я себя помню, мне казалось очевидным, что религиозные системы создаются для утешения и успокоения тревог человеческой жизни. Однажды, лет в двенадцать или тринадцать, когда я работал в продуктовой лавке своего отца, я поделился своим скептицизмом с ветераном Второй мировой войны, только что вернувшимся с европейского фронта. В ответ он протянул мне мятую, выцветшую картинку с Девой Марией и Иисусом, которую всегда носил с собой во время боевых действий в Нормандии.

– Переверни, – сказал он. – Читай вслух.

– В окопах атеистов нет, – прочитал я.

– Верно! В окопах атеистов нет, – медленно повторил он, тыча в меня пальцем при каждом слове. – Христианский Бог, еврейский Бог, китайский Бог, какой угодно – но Бог! Клянусь Богом! Без него никак.

Мятая картинка, подаренная незнакомцем, заморозила меня. Она пережила Нормандию и неизвестно сколько еще разных битв. Может быть, подумал я, это знак, может быть, божественное провидение наконец меня нашло. Два года я носил эту картинку в бумажнике, время от времени доставал и размышлял над ней. А потом как-то раз спросил себя: «Ну и что? Что с того, что в окопах атеистов нет? В любом случае это подтверждает мою скептическую позицию: конечно, вера возрастает, когда увеличивается страх. В том-то и дело: страх порождает веру. Нам нужен Бог, мы хотим, чтобы он был, но, как бы сильно мы ни хотели, желание не станет действительностью. Вера, сколь угодно горячая, чистая, всепоглощающая, ничего не говорит о реальности существования Бога». На следующий день, зайдя в книжный магазин, я вытащил из бумажника теперь уже не обладающую для меня силой картинку и очень осторожно – она заслуживала уважения – вложил ее в книгу под названием «*Спокойствие духа*», в надежде, что, может быть, другой метушийся разум найдет ее и извлечет из нее больше пользы.

Хотя мысль о смерти давно наполняла меня ужасом, я научился предпочитать этот первобытный ужас некоторым верованиям, чья главная убедительность крылась в их полной абсурд-

ности. Я всегда ненавидел непоколебимую формулировку «Верую, *ибо* абсурдно». Но, как терапевт, я держу подобные мысли при себе. Я знаю, что религиозная вера – мощный источник утешения, и никогда не пытаюсь разубедить людей, если не могу предложить взамен ничего лучшего.

Мой агностицизм трудно было пошатнуть. Ну, может быть, пару раз в школе во время утренней молитвы мне становилось не по себе при виде всех учителей и одноклассников, которые стояли со склоненными головами и что-то шептали, обращаясь к патриарху на небесах. «Неужели все, кроме меня, сумасшедшие?» – удивлялся я. А потом в газетах появились фотографии Франклина Делано Рузвельта, ходившего в церковь каждое воскресенье, – и это заставило меня задуматься, к верованиям Ф.Д.Р. нельзя было не относиться серьезно.

А как же убеждения Полы? Как же ее письмо к сыну, уверенность, что нас ждет цель, которую мы даже не можем предугадать? Фрейда развлекла бы метафора Полы, и с точки зрения религии я бы с ним полностью согласился. «Исполнение желаний в чистом виде, – сказал бы он. – Мы хотим *быть*, мы страшимся *небытия* и выдумываем приятные сказочки, в которых все наши желания исполняются. Ожидающая впереди неведомая цель, вечность души, рай, бессмертие, Бог, перевоплощение – все это иллюзии, призванные подсластить горечь смертности».

Пола всегда деликатно реагировала на мой скептицизм и мягко напоминала мне, что, какими бы невероятными ни казались мне ее взгляды, опровергнуть их я не могу. Несмотря на все свои сомнения, я любил метафоры Полы и слушал ее проповеди терпеливей, чем любые другие в своей жизни. Может быть, это был простой товарообмен – я отдавал уголок своего скептицизма за то, чтобы теснее прижаться к ее благодати. Временами я даже слышал из собственных уст фразочки типа «Кто знает?», «В конце концов, доказательств нет», «Разве мы когда-нибудь узнаем доподлинно?» Я завидовал ее сыну. Понимал ли он, как ему повезло? Как бы я хотел быть сыном такой матери.

Примерно в это время я пошел на похороны матери своего друга. Священник рассказал утешительную историю: «Люди собрались на берегу и печально машут, провожая уходящий корабль. Корабль уменьшается, скрывается вдаль, виднеется только верхушка мачты. Когда и она исчезает, зрители бормочут: «Он ушел». Но в это самое время где-то далеко другая группа людей пристально глядит на горизонт и, увидев верхушку мачты, восклицает: «Он пришел!»

«Дурацкая басня», – фыркнул бы я до знакомства с Полой. Но теперь я стал снисходительней. Оглядев собравшихся на похороны, я на мгновение ощутил единство с ними – мы были связаны иллюзией. У всех нас на душе стало светлей от мысли о корабле, который приближается к берегам новой жизни.

До встречи с Полой я первый готов был высмеивать чокнутых калифорнийцев. Чужачества «ню-эйдж» можно перечислять бесконечно: таро, «Книга перемен», массажи и йоги, реинкарнация, суфизм, контакт с духами, астрология, нумерология, иглоукалывание, сайентология, роль-финг, холотропное дыхание, терапия прошлых жизней. Люди всегда нуждались в этих умиротворяющих верованиях, думал я раньше. Эти верования отвечают их глубинным стремлениям, и некоторые люди слишком слабы, чтобы без них обойтись. Бедные детишки, пусть утешаются своими сказочками! Но теперь я выражал свое мнение более деликатно. Теперь с моих губ сходили обтекаемые фразы: «Кто знает?», «Может быть!», «Жизнь сложна и непознаваема».

Несколько недель прошло с тех пор, как мы начали встречаться, и у нас с Полой начали рождаться конкретные планы по созданию группы для умирающих пациентов. Сейчас такие группы уже никого не удивят, о них часто рассказывают в журналах и по телевидению, но в 1973 году прецедентов не было: умирание подвергалось такой же цензуре, как порнография. Поэтому нам приходилось импровизировать на каждом шагу. Даже самое начало было огром-

ным препятствием. Как собрать такую группу? Где искать участников? Не печатать же объявление в газете: «Разыскиваются умирающие»?!

Но обширная сеть знакомств Пола – в церкви, в больницах, клиниках и организациях по уходу за больными на дому – начала приносить потенциальных участников группы. Стэнфордское отделение почечного диализа направило к нам первого человека – Джима, девятнадцатилетнего юношу с тяжелым поражением почек. Он знал, что ему остается жить недолго, но совсем не жаждал познакомиться со смертью поближе. Джим старался не смотреть в глаза мне и Поле и, по правде говоря, вообще избегал любых форм контакта с кем бы то ни было. «Я человек без будущего, – говорил он. – Разве я гожусь в мужья или в друзья? Какой смысл говорить, выносить на поверхность боль отвержения? Я уже достаточно говорил. Меня достаточно много раз отвергали. Я и без людей прекрасно обхожусь». Мы с Полой видели его лишь дважды, на третью встречу он не пришел.

Джим, заключили мы, был слишком здоровым. Почечный диализ дает очень много надежды, откладывает смерть настолько, что отрицание успевает пустить корни. Нет, нам нужны обреченные, те, кто стоит первым в очереди за смертью, у кого не осталось надежды.

Потом появились Роб и Сол. Ни один из них полностью не отвечал нашим требованиям: Роб часто отрицал, что умирает, а Сол утверждал, что уже примирился со своей смертью и наша помощь ему не нужна. Робу было всего двадцать семь лет, и последние полгода он жил с острой злокачественной опухолью мозга. Он то и дело ударялся в отрицание. Например, он мог заявить: «Через полтора месяца я пойду в пеший поход по Альпам!» (я думаю, что бедняга никогда не был восточней Невады), а через несколько секунд начинал проклинать свои парализованные ноги, потому что они мешали ему отыскать потерявшийся страховой полис: «Я же должен выяснить, не откажут ли в деньгах моей жене и детям, если я покончу с собой».

Хотя мы знали, что людей у нас недостаточно, мы начали группу с четырех человек – Пола, Сола, Роб и меня. Поскольку Сол и Пола в помощи не нуждались, а я был терапевтом, смыслом существования группы стал Роб. Но он упрямо отказывался удовлетворить наши притязания. Мы пытались направить его и утешить, в то же время уважая его выбор – отрицание. Поддерживать отрицание – неблагодарное, двойственное стремление, особенно при том, что мы хотели помочь Робу принять факт смерти и взять максимум от той жизни, что ему еще осталась. Ожидание очередной встречи не приносило нам особой радости. Через два месяца головные боли Роб обострились, и как-то ночью он тихо умер во сне. Сомневаюсь, что мы ему чем-то помогли.

Сол реагировал на смерть совершенно по-другому. Его дух рос по мере того, как его жизнь близилась к завершению. Неминуемая смерть наполнила его жизнь неведомым ранее смыслом. У Сола была множественная миелома, чрезвычайно болезненный рак, проникающий в кости; многие кости у Сола были переломаны, тело от шеи до бедер заковано в гипс. Невероятно много людей любили Сола, трудно было поверить, что ему всего тридцать лет. Он, как и Пола, пережил период глубокого отчаяния и преобразился, ошеломленный идеей, что его рак – это служение. Это откровение определило всю последующую жизнь Сола – даже его согласие вступить в группу: он чувствовал, что группа станет тем местом, где он сможет помочь другим людям найти в болезни глубинный смысл.

Сол пришел в группу на полгода раньше, когда она была еще слишком мала, чтобы предоставить ему достойную аудиторию, и он находил себе другие трибуны – в основном старшие классы школ, где обращался к трудным подросткам. «Вы хотите испоганить свое тело наркотиками? Убить его бухлом, травкой, кокаином? – гремел его голос в аудитории. – Хотите разбить его в лепешку, гоняя на машине? Убить? Бросить с моста Золотых ворот? Вам оно не нужно? Ну, тогда *отдайте свое тело мне!* Мне оно нужно. Я его возьму. Я хочу жить!»

Это было невероятно притягательно и убедительно.

Я дрожал, слушая речи Сола. Страсть его выступления прирастала той особенной силой, которую мы всегда придаем словам умирающих. Школьники слушали в молчании, ощущая, как и я, что он говорит правду, что у него нет времени играть, притворяться или бояться последствий.

Через месяц в группе появилась Ивлин, и это предоставило Солу еще одну благоприятную возможность служения. Шестидесятидвухлетнюю Ивлин, озлобленную, умирающую от лейкемии, прикатили на группу на каталке в тот момент, когда ей делали переливание крови. Она откровенно говорила о своей болезни. Она знала, что умирает. «Я могу с этим смириться, – сказала она, – это уже не имеет значения. Но что уж точно имеет значение – это моя дочь. Она отравляет мои последние дни!» Ивлин черными красками описывала свою дочь, клинического психолога, называла ее «мстительной, неспособной на любовь женщиной». Несколько месяцев назад они жестоко и бессмысленно поссорились – дочь присматривала за кошкой Ивлин и накормила ее не той едой. С тех пор мать и дочь друг с другом не разговаривали.

Выслушав Ивлин, Сол обратился к ней с простыми и страстными словами:

– Ивлин, послушай, что я тебе скажу. Я тоже умираю. Какая разница, что ест твоя кошка? Какая разница, кто первый уступит? Ты знаешь, что у тебя мало времени. Хватит притворяться! Для тебя нет ничего на свете важнее любви твоей дочери. Не умирай, я тебя очень прошу, не умирай, не сказав ей об этом! Это отравит ее жизнь, она не сможет оправиться и передаст этот яд дальше – своей дочери! Ивлин, разорви этот порочный круг!

Призыв подействовал. Через несколько дней Ивлин умерла, но медсестры отделения рассказали нам, что под влиянием слов Сола она, рыдая, помирилась с дочерью. Я очень гордился Солом. Это была первая победа нашей группы!

Потом к нам присоединились еще два пациента, и через несколько месяцев мы с Полой решили, что уже многому научились и можем взять группу побольше. Пола начала всерьез набирать людей. Ее связи в Американском онкологическом обществе позволили нам быстро получить направления для нескольких пациентов. Мы провели собеседования, приняли семь новых женщин, всех – с раком груди, и официально открыли группу.

На первой встрече группы в полном составе Пола удивила меня, начав с чтения хасидской притчи:

«Раввин беседовал с Богом об аде и рае. «Я покажу тебе ад», – сказал Бог и повел раввина в комнату, где стоял большой круглый стол. Вокруг стола сидели голодные, отчаявшиеся люди. Посреди стола стоял огромный горшок с едой, которая пахла так аппетитно, что у раввина потекли слюнки. У всех сидящих за столом в руках были ложки с очень длинными ручками. Длинные ложки как раз доставали до горшка, но их ручки были длиннее рук едоков, и те не могли поднести еду к губам, а значит, не могли есть. Раввин увидел, что их страдания поистине ужасны.

«А теперь я покажу тебе рай», – сказал Господь. Они вошли в другую комнату, точно такую же, как первая. В ней стоял такой же круглый стол, а на нем такой же горшок с едой. У людей были такие же ложки с длинными ручками. Но здесь все, упитанные и довольные, беседовали и смеялись. Раввин ничего не понимал. «Это очень просто, но требует некоторой сноровки», – сказал Господь. – Видишь ли, в этой комнате люди научились кормить друг друга».

Я слегка растерялся оттого, что Пола, не посоветовавшись со мной, решила начать с чтения этой притчи. Но ничего не сказал. Такая уж у нее манера, подумал я, зная, что мы еще не разработали наши роли и наши способы сотрудничества в группе. Кроме того, выбор Пола был безупречен – до сего дня это было самое вдохновляющее начало работы новой группы, какое я когда-либо видел.

Как назвать группу? Пола предложила название «Мост». Почему? По двум причинам. Во-первых, группа наводит мосты от одних раковых пациентов к другим. Во-вторых, здесь мы выкладываем все карты на стол². Отсюда – «Мост». Это было в стиле Пола.

Численность нашей «паствы», как называла ее Пола, быстро росла. Каждую неделю-две среди нас появлялись новые искаженные страхом лица. Пола принимала их под свое крыло, звала пообедать, учила, чаровала и одухотворяла. Скоро нас стало так много, что группа разбилась на две – по восемь человек, и я пригласил нескольких психиатров-интернов в качестве соведущих. Все члены группы были против ее разделения на две части: ведь это угрожало целостности семьи. Я предложил компромисс: в течение часа с четвертью проводить встречу двух разных групп, а потом на пятнадцать минут объединяться, чтобы группы могли рассказать одна другой, что было на встрече.

Встречи группы производили на ее членов мощное воздействие. Мы обсуждали крайне болезненные темы, посягнуть на которые, думаю, до нас не осмеливалась ни одна группа. Встреча за встречей – люди приходили с новыми метастазами, новыми трагедиями, но каждый раз мы находили способ быть рядом и поддержать страдающего. Время от времени, когда кто-то из участников был слишком слаб, стоял на пороге смерти и не мог прийти на группу, мы проводили встречу у его постели.

Не было такой темы, которую можно было бы назвать для нашей группы трудной, и роль Пола во время каждого жизненно важного обсуждения была решающей. Например, одна встреча началась с того, что участница по имени Ева рассказала о своей зависти к подруге, которая на днях умерла во сне, внезапно, от сердечного приступа. «Это лучшая смерть», – сказала Ева. Но Пола решила поспорить и заявила, что внезапная смерть – это трагедия.

Мне стало неловко за Полу. Зачем, думал я, ей обязательно нужно ставить себя в глупое положение? Как можно спорить с утверждением Евы, что умереть во сне – лучше всего? Однако Пола, как обычно, убедительно и вежливо обосновала свою точку зрения, что внезапная смерть – худший вариант.

– Человеку нужно время, много времени, – говорила она, – чтобы не торопясь подготовиться к своей смерти других: мужа, друзей и самое главное – детей. Нужно завершить все незаконченные дела своей жизни. Потому что ваши начинания достаточно важны, чтобы не бросать их на полдороге, ведь верно? Ваши дела заслуживают, чтобы их довели до конца, ваши проблемы – чтобы их решили. А иначе получается, что ваша жизнь была бессмысленной.

Более того, – продолжала она, – умирание – это часть жизни. Пропустить ее, проспать значило бы пропустить одно из величайших приключений, какие выпадают человеку.

Однако последнее слово осталось за Евой, тоже довольно сильной личностью:

– Знаешь, Пола, что бы ты ни говорила, а я все равно завидую своей подруге. Я всегда любила сюрпризы.

Скоро слава о нашей группе разошлась по всему Стэнфордскому университету. Студенты-ординаторы, медсестры, целые группы студентов младших курсов стали приходить, чтобы наблюдать за встречами через одностороннее зеркало. Иногда уровень боли в группе становился невыносимым, и студенты в слезах выбегали из наблюдательной комнаты. Но всегда возвращались. Психотерапевтические группы часто – но, как правило, с неохотой – допускают в качестве наблюдателей студентов. Но – не наша группа: мы, наоборот, всегда с радостью на это соглашались. Другие члены группы, как и Пола, жаждали учеников, они чувствовали, что могут многому научить, что смертный приговор сделал их мудрее. И один урок они усвоили особенно хорошо: жизнь нельзя откладывать на потом, ее надо прожить сейчас, не оставлять до выходных, до отпуска, до того времени, когда дети пойдут в университет, до пенсии, когда

² Слово «мост» (bridge) в английском совпадает с названием карточной игры «бридж».

уже не будет сил и возможностей. Я неоднократно слышал, как кто-то из участниц группы жаловался: «Ну почему я по-настоящему научилась жить только сейчас, когда мое тело изрешечено раком?»

В то время я был поглощен задачей преуспеть в научном мире, и мой график, забитый научными исследованиями, составлением заявок на гранты, чтением лекций, преподаванием и писательством, ограничивал время моих контактов с Полой. Может быть, я боялся подойти к ней слишком близко? Может быть, ее взгляд на вещи с точки зрения космоса, ее отрыв от обычных желаний могли бы подорвать мою решимость преуспеть на академическом поприще? Конечно, я каждую неделю видел ее в группе, где я был штатным ведущим, терапевтом, а Пола... кем была Пола? – нет, не соведущим, не котерапевтом, она была кем-то другим... координатором, методистом, посредником. Она помогала новым участникам сориентироваться в группе, организовывала им теплый прием, делилась опытом, звонила на неделе всем участникам, выводила их пообедать и всегда была рядом во время кризиса.

Наверное, лучше всего к ее роли подходят слова «консультант по духовности». Она делала встречи возвышеннее и глубже. Когда она говорила, я внимательно слушал: у Пола всегда были неожиданные прозрения. Она учила членов группы: как медитировать, как заглянуть глубоко в себя, как найти центр спокойствия, как ограничить боль. Как-то раз, на одной из встреч, когда та уже подходила к концу, Пола меня удивила: она достала из сумки свечу, зажгла и поставила на пол. «Давайте сдвинемся теснее, – сказала она, протягивая руки участникам, сидящим справа и слева, – посмотрим на свечу и немного помедитируем в тишине».

До встречи с Полой я настолько погряз в медицинских традициях, что не подумал бы ничего хорошего о враче, который в финале групповой встречи берет за руки с пациентами и молча пялится на свечку. Но и участникам группы, и мне предложение Пола показалось столь уместным, что с тех пор мы заканчивали таким образом все наши встречи. Я научился ценить эти завершающие моменты и, если сидел рядом с Полой, всегда тепло сжимал ее руку, прежде чем отпустить. Она обычно вела медитацию вслух, импровизируя, и всегда делала это с большим достоинством. Я обожал ее медитации и до конца жизни буду вспоминать ее тихие наставления: «Отпустите, отпустите гнев, отпустите боль, отпустите жалость к себе. Потянитесь к себе в душу, в мирные, тихие глубины, откройтесь любви, прощению, Богу...» Опасные идеи для зажатого атеиста-эмпирика с медицинским образованием!

Иногда я задавался вопросом: есть ли у Пола вообще какие-то потребности помимо жажды помогать другим? Я часто спрашивал ее, может ли группа ей чем-то помочь, но так и не получил ответа. Загруженность ее расписания порой просто удивляла меня – она ежедневно навещала нескольких больных. Что ею движет, спрашивал я себя, и почему она говорит о своих проблемах только в прошедшем времени? Она предлагает нам только свои решения – но не свои нерешенные проблемы. Но я никогда не углублялся в эти мысли. В конце концов, у Пола запущенный рак с метастазами, и она прожила дольше, чем предсказала бы самая оптимистическая статистика. Пола была полна энергии, все любили ее, и она всех любила, вдохновляя каждого, кто был вынужден жить с раковой болезнью. Чего еще надо?

То было золотое время моих странствий с Полой. Возможно, мне следовало бы на этом и остановиться. Но в один прекрасный день я огляделся и понял, насколько разрослось наше предприятие – ведущие групп, секретари, которые расшифровывают протоколы встреч и зачисляют новых участников, преподаватели, которые встречаются со студентами-наблюдателями. Я решил, что для таких масштабов необходим приток капитала, и начал искать средства для научных исследований – для поддержания группы на плаву. Я не считал, что профессионально занимаюсь смертью, и потому никогда не брал денег с участников групп и даже не спрашивал, есть ли у них медицинская страховка. Но я посвящал группе достаточно много времени и сил, и у меня были моральные обязательства перед Стэнфордским университетом – я должен был как-то помогать ему компенсировать расходы на мою зарплату. И еще я чувство-

вал, что период, когда я учился быть ведущим группы раковых пациентов, подходит к концу – настала пора что-то сделать с нашим предприятием, исследовать его с научной точки зрения, оценить эффективность, опубликовать результаты, сделать так, чтобы о нас узнали, чтобы стимулировать возникновение подобных программ по всей стране. Короче, настала пора продвигать наше предприятие и самому продвигаться.

Благоприятная возможность представилась, когда Национальный онкологический институт начал собирать заявки на исследования социально-поведенческих особенностей больных раком груди. Я подал заявку и получил грант, который позволял мне оценить эффективность моего терапевтического подхода к больным раком груди в терминальной стадии. Это был простой, незамысловатый проект. Я был уверен, что мой подход позволяет улучшить качество жизни смертельно больных пациентов и что мне осталось только разработать систему оценки и взять на себя административную сторону процесса заполнения участниками анкет до того, как они войдут в группу, и – через регулярные интервалы – после того.

Заметьте, что я стал чаще пользоваться местоимением первого лица единственного числа: «Я решил... я применил... мой терапевтический подход». Оглядываясь назад и просеивая пепел своих отношений с Полой, я начинаю подозревать, что эти местоимения предвещали распад нашей любви. Но тогда, проживая тот период, я не замечал ни малейших признаков ухудшения. Я помню только, что Пола наполняла меня светом, а я был ее опорой, тихой гаванью, какую она искала, пока нам не посчастливилось найти друг друга.

В одном я уверен: проблемы начались вскоре после того, как я официально приступил к субсидированным исследованиям. В наших отношениях появились сначала тоненькие, толщиной с волос, трещинки, а потом – настоящие разломы. Возможно, первым явным признаком беды стали слова Полы: «Я чувствую, что этот исследовательский проект меня эксплуатирует». Я счел это заявление странным, потому что старался предоставить ей именно ту роль, которую она сама просила: она интервьюировала кандидатов в группу, все они были женщины с раком груди в его тяжелой форме – с метастазами, и помогала составлять анкеты для опросов. Более того, я позаботился, чтобы ей хорошо платили – гораздо больше, чем обычному ассистенту, и больше, чем она сама запросила.

Через несколько недель у нас состоялся неприятный разговор. Пола сказала, что переутомилась и что ей нужно больше времени для себя. Я посочувствовал ей и постарался что-то предложить, чтобы снизить бешеный темп ее жизни.

Вскоре после этого я подал в Национальный онкологический институт письменный отчет о первой стадии исследования. Я поставил имя Полы первым в списке младших научных сотрудников, но вскоре до меня дошли слухи: она считает, что я недостаточно высоко оценил ее вклад. (Не обратив внимания на этот слух – мне казалось, что это нехарактерно для Полы, – я совершил ошибку.)

Вскоре я ввел в одну из групп в качестве котерапевта доктора Кингсли – молодую женщину, психолога. У нее не было опыта работы с онкологическими больными, но она была невероятно умна, полна добрых намерений и предана работе. Вскоре Пола вызвала меня на разговор. «Эта женщина, – стала выговаривать мне она, – самый холодный и жесткий человек из всех, кого я знаю. Она и за тысячу лет не поможет ни одному пациенту».

Я был поражен ее озлобленным, обвиняющим тоном и тем, насколько искаженно Пола восприняла нового котерапевта. «Пола, откуда такая резкость? – думал я. – Где твое сострадание, где христианский подход к ближнему?»

В условиях гранта оговаривалось, что в течение первых шести месяцев после получения финансирования я должен провести двухдневный семинар, чтобы проконсультироваться с группой из шести специалистов-онкологов и специалистами по организации исследований и статистическому анализу. Я пригласил Полу и четверых других участников группы присут-

ствовать в качестве пациентов-консультантов. Семинар был бессмысленной тратой времени и денег и проводился исключительно для галочки. Но такова уж судьба исследователя, получающего финансирование от государства: скоро привыкаешь совершать все нужные инвесторам телодвижения. Однако Пола не могла с этим свыкнуться. Посчитав, сколько денег уйдет на этот двухдневный семинар (а это было около пяти тысяч долларов), она гневно выговаривала мне:

– Подумай, как могли бы помочь раковым больным эти пять тысяч!

«Пола, – подумал я, – я тебя очень люблю, но у тебя иногда такая каша в голове».

– Разве ты не видишь, – сказал я, – что приходится идти на компромисс? Мы не можем использовать эти деньги на прямую помощь пациентам. И – что гораздо важнее – мы можем вообще потерять финансирование, если не проведем этот семинар по правилам, установленным федеральным ведомством. Если мы не сдадимся и завершим исследование, доказав ценность нашего подхода для умирающих раковых пациентов, то от этого выиграет много больше людей. Гораздо больше, чем если бы мы напрямую потратили эти пять тысяч долларов на больных. Пола, это никуда не годная экономия. Прошу тебя, умоляю, пойди на компромисс один-единственный раз!

Я чувствовал, как она во мне разочарована. Медленно качая головой, она ответила:

– Пойти на компромисс один-единственный раз? Ирв, компромиссы не ходят по одному. Они плодятся.

На семинаре все консультанты честно проделали то, для чего их пригласили, и отработали заплаченные им немалые деньги. Один говорил о психологическом тестировании – с целью измерения депрессии, беспокойства, способов преодоления и локуса контроля. Другой – о системах здравоохранения, третий – о ресурсах общества.

Пола с головой ушла в работу семинара. Видимо, она понимала, что у нее мало времени, и не собиралась ждать неизвестно чего. При невозмутимых консультантах она играла роль Сократа, приставленного – как «овод к коню» – к гражданам Афин: не давала сытой успокоенности взять верх, разрушая всякое мнимое знание. Например, когда они обсуждали симптомы, свидетельствующие о том, что больной использует неадаптивные стратегии преодоления болезни (такие, как нежелание вставать с постели и одеваться, как замыкание в себе и слезы), Пола возражала: для нее все эти виды поведения говорили скорее о стадии инкубации, постепенно переходящей в новую стадию, а иногда становящейся и периодом роста. Пола сопротивлялась любым попыткам экспертов убедить ее, что подобные вопросы можно решить с помощью статистики и анализа данных, используя достаточно большую выборку, статистические показатели и контрольную группу.

Потом участников семинара попросили назвать важные составляющие жизни человека до заболевания, которые позволили бы заранее сказать о том, что раковой больной сможет психологически приспособиться к своей болезни. Доктор Ли, специалист по раку, записывал мелом на доске предложения участников: стабильность брака, профиль личности, семейная история. Пола подняла руку и произнесла: «А как насчет отваги? И духовной глубины?»

Доктор Ли намеренно долго молча смотрел на Полу, подбрасывая и ловя мелок. Наконец повернулся и записал ее предложения на доске. Я считал, что слова Полы не были лишены смысла, но знал – и знал, что все собравшиеся это знают, – что д-р Ли, глядя на взлетающий в воздух мелок, думал: «Кто-нибудь, ради бога, уведите отсюда эту старуху!» Позднее, за обедом, он презрительно назвал Полу проповедницей. Несмотря на то что д-р Ли был выдающимся онкологом, чья поддержка и рекомендации были незаменимы для нашего проекта, я рискнул выступить против него и стойко защищал Полу, подчеркивая ее важнейшую роль в организации и работе группы. Мне не удалось поменять его впечатление о Поле, но я был горд, что вступился за нее.

В тот же вечер Пола мне позвонила. Она была в ярости.

– Все эти врачи на семинаре – роботы! Да, не люди, а роботы! Мы, пациенты, те, кто борется с раком двадцать четыре часа в сутки, – кто мы для них? Я тебе больше скажу: мы для них всего-навсего «неадаптивные стратегии преодоления».

Я говорил с ней довольно долго, делая все, чтобы успокоить и смягчить ее. Я осторожно намекал, что не стоит распространять один стереотип на всех врачей, и призывал ее к терпению. Я еще раз поклялся в верности принципам, с которых мы начали работу группы. И закончил такими словами:

– Пола, не забывай, все это ничего не значит, потому что у меня свой собственный план исследований. Я не собираюсь поддаваться механистическим идеям этих врачей. Доверься мне!

Но Пола не собиралась ни смягчаться, ни – как оказалось – доверять мне. Злосчастный семинар не шел у нее из головы. Много недель она думала о нем и наконец открыто обвинила меня в том, что я продался бюрократам. Она направила свое личное «мнение меньшинства» – энергичное и ядовитое – в Национальный онкологический институт.

Наконец в один прекрасный день Пола явилась ко мне в кабинет и сказала, что решила покинуть группу.

– Почему?

– Я просто устала.

– Пола, ты что-то скрываешь. Скажи мне настоящую причину.

– Говорю тебе, я устала.

Как я ни допрашивал ее, она продолжала называть этот повод основным, хотя мы оба знали: настоящая причина в том, что я ее разочаровал. Я использовал всю свою хитрость (а за годы практики я усвоил кое-какие способы управлять людьми), но безрезультатно. Все мои попытки – добродушное подтрунивание, ссылки на нашу давнюю дружбу – наталкивались на ее ледяной взгляд. Я утерял взаимопонимание с ней, и мне пришлось вынести всю боль неискреннего разговора.

– Я просто слишком много работаю. С меня хватит, – говорила она.

– Пола, я месяцами тебе это твержу. Сократи свои визиты и звонки, мыслимо ли это – у тебя на попечении десятки пациентов! Просто приходи на группу. Ты нужна группе. И мне. Уверен, полтора часа в неделю для тебя не слишком тяжело.

– Нет, я не могу это делать постепенно, по частям. Мне нужен перерыв! Кроме того, группа за мной не поспевает. Она слишком поверхностна. Мне нужно идти вглубь – работать с символами, снами, архетипами.

– Пола, я согласен. – Я говорил очень серьезно. – Я тоже считаю, что это нужно, и мы в группе как раз подходим к этому порогу.

– Нет, я слишком устала, из меня выпили все соки. С каждым новым пациентом я снова переживаю свой личный кризис, свою Голгофу. Нет, я решила. На следующей неделе я приду в последний раз.

Так она и сделала. В группу она больше не вернулась. Я просил ее звонить мне в любое время, если ей нужно будет поговорить. Она ответила, что я и сам могу ей звонить. Она не старалась меня задеть, но ее ответ сильно ранил меня, заставив по-другому взглянуть на ситуацию. Пола мне никогда больше не звонила. Я звонил ей несколько раз. Два раза по моему приглашению мы ходили обедать. Первый раз оказался таким ужасным, что прошло много месяцев, прежде чем я рискнул пригласить ее еще раз. Та наша встреча началась со зловещего предзнаменования. В выбранном нами ресторане все столики были заняты, и мы, перейдя дорогу, попали в другой, «Троттер», огромное, похожее на пещеру помещение, лишенное даже намека на шарм. Раньше в этом здании торговали автомобилями «Олдсмобиль», потом – экологически чистыми продуктами, потом там устроили танцевальный зал. Теперь в здании был

ресторан, а в ресторане подавали «танцевальные» сэндвичи – под названием «Вальс», «Твист» и «Чарльстон».

То, что дело было плохо, я почувствовал, когда услышал свой голос, заказывающий сэндвич «Хула», и убедился в этом окончательно, когда Пола открыла сумку, достала камень размером с небольшой грейпфрут и положила на стол между нами.

– Это мой камень гнева, – сказала она.

С этого момента в моей памяти зияют провалы, что для меня, вообще говоря, не характерно. К счастью, я кое-что записал сразу после обеда – беседа с Полой была для меня слишком важна, чтобы доверить ее памяти.

– Камень гнева? – повторил я безучастно. Покрытый лишайником булыжник, лежащий на столе между нами, просто приковывал мой взгляд.

– Ирв, меня со всех сторон рвали на куски, как буфетную стойку, и гнев просто пожирал меня. Теперь я научилась его откладывать. В этот камень. Я обязательно должна была принести его сегодня. Я хотела, чтобы он присутствовал при нашей встрече.

– Пола, за что ты на меня сердишься?

– Я больше не сержусь. У меня слишком мало времени, чтобы сердиться. Но ты причинил мне боль. Ты бросил меня, когда мне больше всего нужна была помощь.

– Пола, я никогда не бросал тебя, – сказал я. Но она, словно не слыша, продолжала:

– После семинара я не могла прийти в себя. Я глядела на доктора Ли, на то, как он подбрасывал этот мелок, игнорируя меня, игнорируя человеческие заботы пациентов, и чувствовала, что земля уходит у меня из-под ног. Пациенты – люди. Мы боремся. Иногда мы невероятно отважно сражаемся против рака. Мы часто говорим о выигранной или проигранной битве – а это и есть битва. Иногда мы предаемся отчаянию, иногда нас охватывает чисто физическое изнеможение, а иногда мы возвышаемся над раком. Мы – не «стратегии преодоления». Мы – нечто большее, гораздо большее.

– Но, Пола, это же д-р Ли говорил, а не я. У меня совсем другая позиция. Когда я потом говорил с ним, я защищал тебя. Я тебе об этом рассказывал. После всей нашей совместной работы – как ты могла подумать, что я вижу в тебе только стратегию преодоления? Я ненавижу эти термины и эту точку зрения так же, как и ты!

– Ты знаешь, что я не собираюсь возвращаться в группу.

– Пола, меня не это волнует. – Это была правда. Меня уже не так волновало, вернется ли Пола в группу. Хотя она и была там мощной вдохновляющей силой, я начал понимать, что она была чересчур сильной и слишком вдохновляла. После ее ухода несколько других пациентов начали расти и научились вдохновлять себя сами. – Для меня важнее всего, чтобы ты мне доверяла, чтобы я не был тебе безразличен.

– После того семинара, Ирв, я плакала целые сутки. Я звонила тебе. А ты мне в тот день не позвонил. Позже, позвонив, ты даже не попытался меня утешить. Я пошла в церковь, молиться, и три часа говорила с отцом Элсоном. Вот он меня выслушал. Он всегда меня слушает. Я думаю, что он меня спас.

Черт бы побрал этого священника! Я постарался вспомнить тот день три месяца назад. Я смутно помнил, что говорил с Полой по телефону, но совсем не помнил, чтобы она просила о помощи. Тогда я был уверен, что она позвонила, чтобы опять пилить меня по поводу семинара, который мы уже обсуждали неоднократно. Слишком много раз обсуждали. Почему она никак не может понять? Сколько раз я должен повторять, что я не доктор Ли, что это не я подбрасывал мелок, что я, наоборот, защищал ее перед доктором, что группа будет работать по-прежнему, и я не собираюсь ничего в ней менять, разве только участникам придется раз в три месяца заполнять анкету. Да, Пола мне звонила в тот день, но ни тогда, ни потом она не просила о помощи.

– Пола, если бы ты сказала, что тебе нужна помощь, неужели, ты думаешь, я бы отказал?

– Я плакала целые сутки.

– Я же не телепат. Ты сказала, что хочешь поговорить об исследовании и о своем особом мнении.

– Я плакала целые сутки.

Так мы и говорили, не слыша друг друга. Я изо всех сил пытался к ней пробиться. Я говорил, что она нужна мне – мне, а не группе. И действительно, я в ней нуждался. У меня начались всякие неурядицы, и мне нужно было вдохновение и успокаивающее присутствие Пола. Как-то вечером, несколькими месяцами раньше, я позвонил Поле якобы для того, чтобы обсудить планы работы группы, а на самом деле – потому что моя жена была в отъезде, и я чувствовал себя одиноким и несчастным. После телефонного разговора, который продолжался почти час, мне стало гораздо лучше, хоть я и испытывал некоторую вину за то, что получил терапию задарма, втихую.

И тотчас же я вспомнил ту долгую целительную телефонную беседу с Полой. Почему я не был честнее? Почему не сказал откровенно: «Послушай, Пола, можно мне с тобой поговорить? Помоги мне – мне страшно, одиноко, я чувствую, что мною управляют. Я не могу спать». Нет, это было исключено! Я предпочитал получать поддержку украдкой.

А значит, требовать, чтобы Пола открыто просила о помощи, – с моей стороны чистой воды лицемерие. Она замаскировала свою просьбу, позвонила под предлогом обсуждения семинара? Ну и что? Я должен был постараться ее утешить, а не ждать, чтобы она умоляла меня на коленях.

Думая о камне гнева Пола, я осознал, как мало шансов спасти наши отношения. Конечно, хитрость и изворотливость сейчас были неуместны, и я раскрылся перед Полой как никогда раньше.

– Ты мне нужна, – говорил я, напоминая ей, как я и раньше часто делал, что у врачей тоже есть свои нужды. – Может быть, я проявил недостаточно чуткости, когда ты была расстроена. Но я не телепат, а ты годами отклоняла все мои предложения помощи!

На самом же деле мне хотелось сказать вот что: «Пола, дай мне еще один шанс. Даже если и в этот раз я не уловил твоей обиды, не бросай меня навсегда!» В тот день я почти умолял ее. Но Пола осталась непоколебимой, и мы расстались, даже не коснувшись друг друга.

Я на много месяцев выбросил Полу из головы, но однажды д-р Кингсли, та молодая психолог, к которой Пола испытывала беспричинную антипатию, рассказала мне о своей неприятной стычке с Полой. Пола пришла в группу, которую вела д-р Кингсли (теперь в нашем проекте было уже несколько групп), и – будто бы она Миссис Рак – единолично заняла все время сессии своей речью. Я тут же позвонил Поле и опять пригласил ее на обед.

Пола очень обрадовалась моему приглашению, что меня слегка удивило, но как только мы встретились – на этот раз в клубе сотрудников Стэнфорда, где не подают сэндвичей «Хула», – я понял, что у нее на уме. Она не могла говорить ни о чем, кроме как о д-ре Кингсли. По словам Пола, котерапевт д-ра Кингсли пригласил Полу для выступления перед группой, но стоило Поле заговорить, д-р Кингсли сказала, что она занимает слишком много времени.

– Ты должен сделать ей выговор, – настаивала Пола. – Ты же знаешь, что преподаватели могут и должны отвечать за непрофессиональное поведение своих студентов.

Но д-р Кингсли была моей коллегой, а не студенткой, и я знал ее много лет. Я давно дружил с ее мужем, и, кроме того, мы с ней вместе руководили многими группами. Я знал, что она прекрасный терапевт, и был уверен, что, рассказывая о ее поведении на группе, Пола сильно искажает картину.

Медленно, очень-очень медленно до меня начало доходить, что Пола ревнует: ревнует к вниманию и симпатии, которые я уделяю д-ру Кингсли, ревнует к моему союзу с ней и всеми остальными сотрудниками – участниками исследования. Естественно, Пола была против того семинара, естественно, ей было не по душе мое сотрудничество с любыми другими исследова-

телями. Она сопротивлялась бы любым изменениям. Ее единственным желанием было – вернуться в то время, когда мы вдвоем были наедине с немногочисленной «паствой».

Что я мог сделать? Ее настойчивое требование сделать выбор между нею и д-ром Кингсли ставило меня перед невозможной дилеммой. «Я хорошо отношусь и к тебе, и к д-ру Кингсли. Что мне сделать, чтобы сохранить мою цельность, профессиональную общность и дружбу с д-ром Кингсли таким образом, чтобы ты не чувствовала при этом, что я тебя бросил?» Я пытался пробиться к Поле всеми возможными способами, но дистанция между нами все увеличивалась. Я не мог найти нужных слов. Любая тема была потенциально опасна. У меня больше не было права задавать Поле личные вопросы, и она не проявляла никакого интереса к моей жизни.

Все время, пока мы обедали, Пола рассказывала мне истории о том, как ужасно обращаются с ней врачи:

– Они игнорируют мои вопросы. От их лекарств больше вреда, чем пользы.

Упомянув о психологе, который беседовал кое с кем из раковых пациентов, членов бывшей нашей группы, она предупредила:

– Он ворует наши разработки, чтобы использовать их в своей книге. Прими меры, Ирв.

Пола была явно не в себе. И я был встревожен и опечален ее паранойей. Думаю, мое расстройство было заметно, потому что, когда я встал, чтобы уйти, Пола попросила меня ненадолго задержаться.

– Ирв, у меня есть для тебя история. Присядь, я расскажу тебе про койота и саранчу.

Она знала, что я люблю истории. Особенно ее истории. Я стал слушать.

Жил-был койот, у которого была невыносимо тяжелая жизнь. Весь день он видел только своих голодных щенков, охотников да капканы. Как-то раз он убежал подальше от всех, чтобы побыть в одиночестве. Вдруг он услышал нежную мелодию, мелодию о покое и благоденствии. Он пошел на звук и вышел на лесную поляну. Там на трухлявом бревне сидела большая саранча, грелась на солнышке и пела песню.

– Научи меня своей песне, – попросил койот саранчу. Она не ответила. Он еще раз потребовал научить его песне. Но саранча все не реагировала. Наконец, когда койот пригрозил, что съест саранчу, она сдалась, стала повторять свою прекрасную песню и повторяла до тех пор, пока койот ее не выучил. Напевая новую песню, койот направился обратно к семье. Вдруг рядом вспорхнула стая диких гусей и отвлекла его. Придя в себя, койот открыл пасть, чтобы снова запеть, но обнаружил, что забыл песню.

Он повернул обратно к солнечной поляне. Но к этому моменту саранча перелиняла и взлетела на дерево. На бревне осталась лишь ее пустая шкурка. Думая, что саранча все еще внутри, койот, не теряя времени, решил сделать так, чтобы песня постоянно была внутри его – и мигом проглотил шкурку. На пути к дому он опять понял, что не знает песни. Он осознал, что нельзя выучить песню, проглотив саранчу. И решил ее выпустить и заставить научить его петь. Он взял нож и вспорол себе живот. Разрез был такой глубокий, что койот умер.

– Вот так, Ирв, – закончила Пола. Она одарила меня своей прекрасной, блаженной улыбкой, взяла за руку и шепнула прямо мне в ухо: «Научись петь свою собственную песню».

Я был очень тронут: улыбка, тайна, стремление к мудрости – это была та Пола, которую я знал, совсем как в старые добрые времена. Притча мне понравилась. Я принял ее буквальный смысл – нужно научиться петь свою собственную песню – и вытеснил мрачный, тревожащий подтекст истории моих отношений с Полой. И по сей день я не в силах изучать эту историю слишком пристально.

Итак, каждый из нас стал петь свою отдельную песню. Моя карьера шла в гору: я проводил исследования, писал многочисленные книги, получал вожделенные академические награды и новые должности. Прошло десять лет. Проект по изучению рака груди, который

помогла начать Пола, уже завершился, и результаты его были опубликованы. Мы провели групповую терапию для пятидесяти женщин с раком груди на последних стадиях (с метастазами) и обнаружили, что наш подход значительно улучшил качество жизни больных на протяжении отпущенного им времени по сравнению с тридцатью шестью женщинами из контрольной группы. (Много лет спустя мой коллега д-р Дэвид Шпигель, которого я за много лет до того пригласил на роль главного исследователя проекта, опубликовал в «Ланцете» статью по результатам проекта, из которой следовало, что группа существенно удлинила жизнь ее участниц.) Но эта группа уже принадлежит истории, все тридцать женщин из первоначальной группы «Мост» и восемьдесят шесть участниц исследования рака груди давно умерли.

Все, кроме одной. Однажды в больничном коридоре рыжеволосая молодая женщина остановила меня и, покраснев, сказала:

– У меня для вас поклон от Полы Уэст.

Пола! Не может быть! Пола еще жива?! А я даже не знал. Страшно подумать, что я превратился в человека, не подозревающего о присутствии на земле такой великой личности, как Пола.

– От Полы? Как она поживает? – запинаясь, ответил я. – Откуда вы ее знаете?

– Два года назад, когда у меня диагностировали волчанку, Пола пришла меня навестить и ввела в свою группу взаимопомощи больных волчанкой. С тех пор она заботится и обо мне, и обо всем сообществе больных волчанкой.

– Очень сочувствую вам. Но Пола? Волчанка? Я не знал.

Какое лицемерие, подумал я. Как я мог знать? Я хоть раз позвонил ей?

– Она говорит, что у нее началась волчанка из-за лекарств, которые ей прописывали от рака.

– Она очень плоха?

– Ну, про Полу никогда не скажешь. Видимо, не слишком, раз начала вести группу взаимопомощи для больных волчанкой, приглашает каждого новичка к себе на обед, навещает тех, кто плохо себя чувствует и не может выйти из дому, устраивает лекции специалистов-медиков, чтобы держать нас в курсе новых исследований в области волчанки. И не слишком больна, чтобы организовать расследование комитета по медицинской этике против врачей, которые лечили ее от рака.

Организует, просвещает, помогает, агитирует, основывает группы, обрушивается на докторов – да, это точно Пола.

Я поблагодарил молодую женщину и в тот же день набрал телефонный номер Полы, который все еще помнил наизусть, хотя последний раз звонил по нему десять лет назад. В ожидании ответа я размышлял о недавних геронто-логических исследованиях, которые показали связь между жизненным стилем личности и долголетием: сварливые, параноидальные, настроенные и настойчивые пациенты обычно живут дольше. Лучше вздорная, раздражительная, но живая Пола, думал я, чем благодушная и мертвая!

Она, похоже, обрадовалась моему звонку и пригласила меня на обед к себе домой: она сказала, что от волчанки ее кожа стала слишком чувствительна к солнцу, и она не может днем выйти в ресторан. Я с радостью согласился. В назначенный день я пришел к Поле, она была в саду перед домом. Завернутая с головы до ног в полотно, в огромной широкополой шляпе, она пропалывала клумбу высокой, благоухающей испанской лаванды.

– Эта болезнь, скорее всего, убьет меня, но я не дам ей встать между мной и моим садом, – сказала Пола. Взяв меня за руку, она проводила меня в дом, усадила на темно-фиолетовый бархатный диван, села рядом и начала разговор на серьезной ноте:

– Ирв, я тебя сто лет не видела, но я часто о тебе думаю. Часто молюсь за тебя.

– Пола, мне приятно, что ты обо мне думаешь. Но что касается молитв, ты же знаешь, у меня с этим проблемы.

– Да, да, я поняла, что это та область, на которую тебе нужно взглянуть шире. Это значит, – добавила она, улыбаясь, – что мне еще предстоит над тобой потрудиться. Помнишь, как мы с тобой последний раз говорили о Боге? Это было много лет назад, но я помню, что ты сказал: «Святость для меня – это как будто пучит ночью!»

– Вне контекста это звучит очень грубо. Но тогда я не хотел тебя обидеть. Я просто имел в виду, что чувство – это всего лишь чувство. Субъективное состояние не способно породить объективную истину. Желание, страх, благоговение, трепет перед тайной еще не означают...

– Да, да, – с улыбкой прервала меня Пола. – Твой привычный материалистический катехизис. Я его слышала уже много раз, и меня всегда поражало, сколько страсти, преданности, веры ты в него вкладываешь. Помню, в нашем последнем разговоре ты сказал, что среди твоих близких друзей и людей, чей ум внушал бы тебе уважение, никогда не было истово верующих.

Я кивнул.

– А мне надо было еще тогда тебе ответить: ты забыл про одного верующего друга – про меня! Как бы мне хотелось привести тебя к священному! Как удивительно, что ты позвонил именно сейчас, потому что я много думала о тебе в последние две недели. Я только что провела две недели в духовной группе при монастыре в Сьеррах, и мне бы так хотелось взять тебя с собой. Садись поудобней, и я тебе расскажу... Как-то утром нас попросили медитировать, думая о ком-нибудь умершем, о человеке, которого мы любили и с которым по-настоящему, так и не расстались. Я решила думать о своем брате, которого очень любила, – он умер в семнадцать лет, когда я была еще ребенком. Нас попросили написать прощальное письмо и в нем сказать этому человеку все важное, то, что мы никогда ему не говорили. Потом мы должны были найти в лесу предмет, символизирующий этого человека. И наконец, похоронить этот предмет вместе с письмом. Я выбрала небольшой гранитный камушек и похоронила его в тени можжевельника. Мой брат чем-то напоминал скалу – крепкий, устойчивый. Будь он жив, он бы меня поддержал. Он бы никогда не отмахнулся от меня.

Говоря это, Пола заглянула мне в глаза. Я начал было протестовать, но она положила мне палец на губы и продолжала:

– В ту ночь, в полночь, монастырские колокола начали звонить по людям, которых мы потеряли. В группе нас было двадцать четыре человека, и колокола прозвонили двадцать четыре раза. Я сидела у себя в комнате и, услышав первый удар колокола, испытала – действительно, по-настоящему испытала – смерть своего брата, и меня накрыла волна невыразимой печали, когда я подумала обо всем, что мы делали с ним вместе, и о том, что уже никогда вместе не сделаем. Потом случилась странная вещь: колокола продолжали звонить, и с каждым ударом я вспоминала кого-нибудь из умерших участников нашей группы «Мост». Когда звон прекратился, я вспомнила двадцать одного человека. И все время, пока звонили колокола, я плакала. Я плакала так сильно, что одна монахиня пришла ко мне в комнату, обняла меня и держала в объятиях.

– Ирв, ты их помнишь? Помнишь Линду, Банни...

– И Еву, и Лили. – На мои глаза навернулись слезы, когда я вместе с Полой начал вспоминать лица, истории, боль участников нашей первой группы.

– И Мэдилайн, и Габби.

– И Джуди, и Джоан.

– И Ивлин, и Робина.

– И Сола, и Роба.

Обнявшись и слегка раскачиваясь, мы с Полой продолжали этот дуэт, эту панихиду, пока не погребли имена двадцати одного человека из нашей маленькой семьи.

– Это святой момент, Ирв, – сказала Пола, разжимая объятия и заглядывая мне в глаза. – Неужели ты не чувствуешь, что их души – рядом?

– Я их так ясно помню, и я чувствую *твое* присутствие, Пола. Для меня это достаточно свято.

– Я тебя хорошо знаю, Ирв. Помяни мои слова: придет день, и ты поймешь, до какой степени ты на самом деле верующий. Но с моей стороны нечестно пытаться тебя обращать в веру, когда ты голодный. Пойду организую обед.

– Пола, подожди секунду. Несколько минут назад ты сказала, что твой брат никогда не отмахнулся бы от тебя. Это был намек на меня?

– Когда-то, – сказала Пола, глаза ее испускали свет, – в день, когда ты был мне нужен больше всего, ты меня покинул. Но то было тогда. И прошло. Теперь ты вернулся.

Я был уверен, что знаю, какой день она имеет в виду. Тот день, когда д-р Ли жонглировал мелом. Сколько времени занял полет мела? Секунду? Две? Но эти краткие моменты вмерзли в память Пола. Их можно было убрать разве что ледорубом. Я понимал, что не стоит и пытаться. Вместо этого я вернулся к ее брату.

– Ты говоришь, что твой брат был как скала, и это напоминает мне камень, тот камень гнева, который ты однажды положила на стол между нами. Ты знаешь, ведь ты раньше никогда не рассказывала мне, что у тебя был брат. Но его смерть помогает мне понять кое-что и о нас с тобой. Может быть, нас всегда на самом деле было трое – я, ты и твой брат? Я хочу понять, не была ли его смерть причиной того, что ты решила сама себе быть скалой, что ты так и не позволила мне стать твоей скалой. Может быть, его смерть убедила тебя, что все остальные мужчины хрупки и ненадежны?

Я остановился и подождал. Как она отреагирует? За все годы знакомства с Полой я впервые предложил ей интерпретацию, относящуюся к ней самой. Но она ничего не сказала. Я продолжал:

– Я полагаю, что я прав, и думаю – хорошо, что ты поехала в тот монастырь, хорошо, что постаралась попрощаться с братом. Может быть, и у нас с тобой теперь все будет по-другому.

Опять молчание. Потом Пола с загадочной улыбкой пробормотала:

– Теперь пора и тебя покормить, – и ушла в кухню.

Были ли эти слова – «Теперь пора и тебя покормить» – признанием, что я только что накормил ее? Черт, как трудно дать что-либо этой женщине!

Через минуту, когда мы сели за стол, Пола посмотрела на меня в упор и спросила:

– Ирв, у меня беда. Будешь моей скалой?

– Конечно, – ответил я радостно, воспринимая ее просьбу о помощи как ответ на мой вопрос. – Ты можешь опереться на меня. Какая беда?

Но как только Пола начала объяснять, что случилось, радость от того, что мне позволили помочь, быстро сменилась растерянностью.

– Я так откровенно высказывалась о врачах, что, кажется, попала у них в черный список. Все врачи Ларчвудской клиники сговорились против меня. Но я не могу перейти в другую клинику – моя медицинская страховка не позволяет. А в моем состоянии меня не примет ни одна другая страховая компания. Я уверена, что врачи, когда лечили меня, нарушали принципы медицинской этики, что из-за их лечения у меня началась волчанка. Я уверена, что они были некомпетентны. Они меня боятся! В моей медицинской карте эти врачи писали красными чернилами, так что, если суд затребует мою карту, они смогут легко найти и изъять эти записи. Они использовали меня как подопытную морскую свинку. Они преднамеренно не лечили меня стероидами, пока не стало уже слишком поздно. А потом ошиблись с дозировкой...

Я совершенно уверена, что они хотели от меня избавиться, – продолжала Пола. – Всю неделю я сочиняла письмо медицинской комиссии и рассказала про них всю правду. Но я пока не опустила это письмо, потому что меня беспокоит, что случится с этими врачами и их семьями, если у них отберут лицензии. С другой стороны, разве можно позволить, чтобы они продолжали калечить пациентов? Я не могу пойти на компромисс. Помнишь, я как-то

сказала тебе, что компромиссы не ходят поодиночке: они плодятся, и сам не заметишь, как поступишься наиболее дорогими своими убеждениями. А если я промолчу здесь, сейчас, это тоже будет компромисс! Я молюсь, чтобы Бог меня направил.

Моя растерянность перешла в отчаяние. Может быть, в обвинениях Пола и было крохотное зерно истины. Может быть, кому-то из ее врачей, как д-ру Ли много лет назад, поведение Пола было так неприятно, что он решил от нее отделаться. Но записи красными чернилами, использование в качестве подопытного животного, отказ в назначении необходимого лекарства? Эти обвинения были абсурдны, и я был уверен, что они – проявления паранойи. Я знал кое-кого из этих врачей и был убежден в их честности. Пола опять заставила меня выбирать между *ее* непоколебимыми убеждениями – и *моими*. Больше всего на свете мне не хотелось дать ей повод подумать, что я ее опять бросаю. Но как я мог остаться с ней?

Я чувствовал, что я в ловушке. Наконец, после стольких лет, Пола открыто просила меня о помощи. Я видел только один возможный ответ: рассматривать ее как невменяемую и обходиться с ней соответственно – то есть «обходиться» в извращенном, торгашеском смысле этого слова – втюхивать. Именно этого я всегда старался избегать с Полой, да и с любым другим человеком, потому что «обходиться» с человеком подобным образом – значит, обращаться с ним как с объектом – а это антитеза тому, чтобы действительно *быть* с человеком.

Эту дилемму я мог понять, она была мне созвучна. Я слушал, осторожно задавал вопросы и держал свое мнение при себе. Наконец я предложил ей написать в медицинскую комиссию более мягкое письмо.

– Честное, но более мягкое, – сказал я. – Тогда врачи не лишатся лицензий, а отделаются выговорами.

Все это, конечно, было обманом. Ни одна медицинская комиссия на свете не стала бы рассматривать такое письмо всерьез. Никто не поверил бы, что все врачи клиники вступили в заговор против Пола. Выговоры и отзывы лицензий были невозможны.

Пола глубоко задумалась, взвешивая мой совет. Думаю, она почувствовала мою заботу и, надеюсь, не поняла, что я ее обманываю. Наконец она кивнула.

– Ты дал мне добрый, надежный совет, Ирв. Именно то, что нужно.

Я почувствовал укол злой иронии: только теперь, когда я обманул Полу, она сочла меня достойным доверия, а мою помощь – реальной.

Несмотря на повышенную чувствительность к солнцу, Пола настояла, что проводит меня до машины. Она надела свою широкополую шляпу, завернулась в полотно, накинула вуаль и, когда я включил зажигание, потянулась в открытое окно машины, чтобы обнять меня в последний раз. Отъезжая от ее дома, я смотрел в зеркало заднего обзора. Силуэт Пола прорисовывался на фоне солнца, шляпа и полотняные покрывала источали свет. Пола светилась внутренним светом. Подул ветерок. Одежды Пола затрепетали. Она казалась листком – трепещущим, свернутым вокруг черенка, готовым к полету.

Все десять лет, предшествующие этому визиту, я посвятил написанию книг. Я выдавал их одну за другой. Такая продуктивность была плодом простой стратегии: писательство было для меня главным делом, и я следил, чтобы ничто другое ему не мешало. Я охранял свое время яростно, как медведица медвежат. Я вычеркнул из расписания все, кроме самого необходимого. Даже Пола попала в категорию необязательных дел, и у меня не нашлось времени позвонить ей еще раз.

Через несколько месяцев умерла моя мать, и, когда я летел на похороны, в самолете я вдруг вспомнил о Поле. Я размышлял о ее прощальном письме покойному брату – обо всем том, что она так и не сказала ему. И я думал обо всем том, что так и не сказал матери. А я почти ничего ей не сказал! Мы с матерью любили друг друга, но никогда не разговаривали прямо,

от сердца к сердцу, как два человека, достигающие друг друга чистыми руками и чистыми смыслами. Мы всегда именно «обходились» друг с другом, говорили, не слыша друг друга, и каждый из нас боялся, обманывал другого, манипулируя им. Я уверен: именно поэтому я всегда старался говорить с Полой честно и откровенно. И поэтому мне было так неприятно, когда пришлось с ней «обходиться».

В ночь после похорон я увидел чрезвычайно мощный сон.

Моя мать и множество ее друзей и родственников – все покойные – очень тихо сидят на ступеньках лестницы. Я слышу голос матери, она зовет меня по имени – выкрикивает мое имя изо всех сил. Особенно хорошо я ощущаю присутствие тети Минни – она совершенно неподвижно сидит на верхней ступеньке. Потом она начинает двигаться – сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, – и вот она уже вибрирует со страшной скоростью, как шмель. В этот момент все, кто сидит на ступеньках, все взрослые из моего детства, все покойники, начинают дрожать. Дядя Эйб тянет руку, чтобы ущипнуть меня за щеку, приговаривая, как обычно: «Сынок, дорогой». Потом и другие начинают тянуться к моим щекам. Сначала щиплют нежно, потом свирепеют: щипки становятся болезненными. Я просыпаюсь в ужасе, с пылающими щеками. Три часа ночи.

Этот сон изображает поединок со смертью. Сначала меня зовет покойная мать, и я вижу всех своих покойников, сидящих в зловещей неподвижности на лестнице. Потом я пытаюсь отрицать неподвижность смерти, стараюсь вдохнуть движение жизни в мертвых. Меня особенно привлекает тетя Минни, которая умерла годом раньше, после обширного инсульта, который полностью парализовал ее на несколько месяцев, – она не могла двинуть ни одним мускулом, только глазами. В моем сне Минни начинает двигаться, но быстро теряет контроль и впадает в исступление. Дальше я пытаюсь избавиться от страха перед мертвыми, воображая себе, как они нежно щиплют меня за щеки. Но мой страх снова прорывается наружу, щипки становятся яростными, злобными, и страх смерти захлестывает меня.

От образа тети, трепещущей, как шмель, я потом еще долго не мог избавиться. Я подумал: может быть, это послание означает, что мой собственный лихорадочный ритм жизни – всего лишь неуклюжая попытка заглушить страх смерти? Не говорит ли мне этот сон, что мне надо притормозить и заняться тем, что для меня по-настоящему ценно?

Мысль о *ценностях* заставила меня вспомнить о Поле. Почему же я ей не позвонил? Она была единственным человеком, кто встретился со смертью глаза в глаза и заставил ее опустить взгляд. Я вспомнил, как она руководила медитацией в конце наших встреч: устремив взгляд на пламя свечи, звучным голосом ведя нас вглубь, к спокойствию.

Сказал ли я ей хоть раз, что значили для меня эти моменты? Столько вещей, о которых я ей так и не сказал. Скажу теперь. В самолете, уже летя домой с похорон матери, я дал себе обещание возобновить дружбу с Полой.

Но так и не выполнил обещания. У меня было слишком много дел: жена, дети, пациенты, студенты, письменные труды. Я делал норму, по странице в день, и игнорировал все остальное – все прочие части моей жизни. Они должны были ждать, пока я закончу книгу. И Поле тоже приходилось ждать.

Но Пола, конечно, ждать не стала. Через несколько месяцев я получил записку от ее сына – мальчика, которому я когда-то завидовал, что у него такая мать, как Пола, того самого сына, которому она много лет назад написала такое замечательное письмо о своей приближающейся смерти. В записке были простые слова: «Моя мать умерла. Я уверен, она хотела бы, чтобы вы об этом знали».

Южный комфорт³

Я тратил свое время. Пять лет. В течение пяти лет я каждый день вел группу в психиатрическом отделении больницы. Ежедневно в десять утра я покидал свой уютный, уставленный книжными шкапами кабинет на медицинском факультете Стэнфордского университета, садился на велосипед, ехал в больницу, входил в отделение, морщась от первого вдоха липкого лизольного воздуха, нацеживал настоящий кофе из термоса для персонала (пациентам – никакого кофеина, никакого табака, никакого алкоголя, никакого секса; полагаю, для того, чтобы они не устраивались здесь слишком комфортно и слишком надолго). Затем я расставлял стулья в круг в групповой комнате, вытаскивал из кармана дирижерскую палочку и восемьдесят минут дирижировал встречей психотерапевтической группы.

Хотя в отделении было двадцать коек, на группу ходило гораздо меньше народу – иногда всего человека четыре или пять. Я был разборчив с клиентурой и принимал только пациентов с высоким уровнем функционирования⁴. Кто получал допуск в группу? Тот, кто был *ориентирован трижды*: во времени, пространстве и собственной личности. Члены моей группы должны были знать хотя бы, *кто* они, *когда* и *где*. Я не возражал против больных с психозами (главное, чтобы они помалкивали о своем расстройстве и не мешали другим работать), но требовал, чтобы каждый член группы был в состоянии в течение восьмидесяти минут говорить, следить за происходящим и признавать, что нуждается в помощи.

В любом престижном клубе есть свои условия приема. Возможно, мои требования к членам группы делали мою терапевтическую группу – «Группу с планом работы», как я ее называл, а почему, объясню позже – более привлекательной. А что с теми, кто не получил допуск – пациенты в возбужденном или в регрессированном состоянии? Для них предназначалась «Группа общения», другая группа в отделении, чьи встречи были короче, с более четкой структурой и предъявляли меньше требований к участникам. И, конечно, всегда были также и отщепенцы, чей интеллект и внимание были слишком повреждены, кто был слишком агрессивен или маниакален для того, чтобы быть принятым в любую из групп – те, кто не мог приспособиться ни к какой группе. Часто некоторым перевозбужденным, социально изолированным пациентам позволялось присутствовать на группе общения после того, как инъекции и таблетки успокаивали их на день-другой.

«Позволялось присутствовать» – эти слова заставили бы улыбнуться даже самого замкнутого в себе пациента. Нет! Буду честен. В истории больницы никогда не было такого, чтобы возбужденные пациенты колотили в дверь комнаты, где проходит встреча группы, требуя, чтобы их тоже туда пустили. Гораздо чаще повторялась совсем другая сцена: перед группой санитары и медсестры в белых халатах носятся по отделению, выковыривают участников группы из потайных мест в стенных шкафах, туалетах, душевых и гонят их в групповую комнату.

У «группы с планом работы» сложилась особая репутация: в ней было трудно, приходилось напрягаться, а главное – в ней все было на виду: негде спрятаться. Никто из обитателей отделения не ломился в чужую группу. Пациент «более высокого уровня функционирования» скорее умер бы, чем по своей воле оказался в «группе общения». Если же какой-нибудь «менее функциональный пациент» случайно забредал на встречу «группы с планом работы», то, сто-

³ Мы оставили дословный перевод названия рассказа «Southern Comfort». Это устойчивое словосочетание на новоорлеанском сленге означает что-то вроде «любвеобильная темнокожая», а также так называется крепкий и сладкий коктейль, популярный в южных штатах. – *Прим. ред.*

⁴ Так называемые high-, lower – functioning patient – это реалии американской медицинской практики разделения больных по «уровню функционирования» в связи со степенью социализации, самообслуживания и дееспособности. Не беря на себя задачу соотношения этих терминов с принятой в России классификацией болезней, оставим здесь «кальку» с английского. – *Прим. ред.*

ило ему понять, где он, его глаза стекленели от страха, и он сам быстренько сматывался. Возможность перехода «с повышением» — из группы пациентов с низким уровнем в группу с высоким уровнем функционирования — технически существовала, но, как правило, пациенты не оставались в больнице так надолго. Таким образом, пациенты таким завуалированным образом были разделены по сортам, и каждый знал свое место. Но вслух об этом никто никогда не говорил.

До того, как я начал проводить группы в больнице, я думал, что быть ведущим группы амбулаторных больных — тяжелый труд. Совсем непросто вести группу из семи-восьми нуждающихся в поддержке пациентов, у которых большие проблемы в отношениях с другими людьми. За время встречи я очень уставал, часто — просто до истощения, и восхищался теми терапевтами, у которых хватало выносливости после одной группы сразу вести другую. Но стоило мне приступить к работе с группой стационарных больных, и я начал с тоской вспоминать старые добрые дни, когда работал с амбулаторными.

Представьте себе группу амбулаторных пациентов — сплоченных, сотрудничающих друг с другом людей с высокой мотивацией: тихая, уютная комната, медсестры не стучат в дверь, чтобы уволочь пациента на какую-нибудь процедуру или к врачу, среди пациентов — ни одного самоубийцы с перебинтованными запястьями, никто не отказывается говорить, никто не накачан успокоительными до полной отключки и не начинает храпеть посреди встречи, а самое главное — на каждую встречу приходят одни и те же пациенты, один и тот же котерапевт, и так — неделю за неделей, месяц за месяцем. Какая роскошь! Просто нирвана для терапевта. В противоположность этой картине моя группа стационарных больных была полным кошмаром. Постоянная реорганизация и частое обновление состава группы, повторяющиеся психотические вспышки, манипулирующие друг другом участники, выжженные изнутри двадцатью годами депрессии или шизофрении больные люди, которые уже никогда не поправятся, и надо всем этим — давящая атмосфера безысходности.

Но настоящим убийцей, зубодробителем, была бюрократия, царившая в системе здравоохранения и медицинском страховании. Каждый день оперотряды агентов НМО⁵ совершали налет на отделение, обнюхивали все больничные карты и приказывали выписать очередного безнадежного пациента со спутанным сознанием, если он вчера кое-как функционировал и если в его карте не было записи лечащего врача, гласящей, что пациент склонен к самоубийству или опасен для окружающих.

Неужели было время, и не так уж давно, когда забота о больном была превыше всего? Неужели когда-то поступивших в больницу больных держали там, пока они не поправятся? А может, это был только сон? Я больше уже не говорю об этом, больше не рискую вызвать снисходительные улыбки моих студентов «болтовней о золотом веке», когда задачей больничной администрации было помогать врачу оказывать помощь пациенту.

Бюрократические парадоксы сводили с ума. Возьмем, например, историю Джона — мужчины средних лет с паранойей и легкой умственной отсталостью. После того, как однажды на него напали в ночлежке для бездомных, он избегал бесплатных ночлежек и спал на улице. Джон знал волшебные слова, открывающие ему двери больницы, и часто в холодные, дождливые ночи, обычно около полуночи, он расцарапывал себе запястья у приемного покоя «Скорой помощи» и угрожал нанести себе более серьезные повреждения, если штат не обеспечит ему безопасное, приватное место для ночлега. Но ни одно учреждение не обладало полномочиями выдать Джону двадцать долларов на комнату. А поскольку у дежурного врача в приемном покое не было уверенности — с медицинской и юридической точек зрения, — что Джон не совершит серьезной попытки самоубийства, если его заставить спать в ночлежке, то Джон много раз за

⁵ НМО (health maintenance organization) — система обеспечения регулируемого медицинского обслуживания в США, направленная на снижение расходов системы здравоохранения, покрываемых страховыми компаниями.

год получал возможность хорошо выспаться в больничной палате стоимостью 700 долларов в сутки. И все благодаря нашей нелепой и бесчеловечной системе медицинского страхования.

Современную практику краткосрочной психиатрической госпитализации можно считать оправданной только в том случае, если существует адекватная программа работы с больным после выписки. Тем не менее в 1972 году губернатор Рональд Рейган одним смелым, гениальным росчерком пера отменил душевные болезни в Калифорнии, не только закрыв крупные психиатрические больницы штата, но и уничтожив большую часть общедоступных реабилитационных программ. В результате больничный персонал был вынужден день за днем производить загадочные действия – сначала лечить пациентов, а потом выписывать их в те же неблагоприятные условия, которые в первую очередь и стали причиной госпитализации. Как будто на скорую руку зашиваешь раненых солдат и бросаешь их обратно в бой. Представьте, что вы рвете себе задницу, работая с пациентами, – первичные интервью и их обработка, ежедневные обходы, представление информации лечащим психиатрам, планерки для сотрудников, работа со студентами-медиками, вписывание назначений в медицинские карты, ежедневные терапевтические сессии, – при этом прекрасно отдавая себе отчет, что еще пара дней, и у вас не будет выбора, кроме как вернуть пациентов назад в ту же злокачественную среду, которая изрыгнула их. Назад в бесчеловечные семьи алкоголиков. Назад к озлобленным супругам, у которых давно уже кончились любовь и терпение. Назад на улицу, к набитым рухлядью магазинным тележкам. Назад к ночевкам в разлагающихся автомобилях. Назад в общество невменяемых дружков-кокаинистов и безжалостных торговцев наркотиками, поджидающих своих жертв за воротами больницы.

Вопрос: и как же мы, целители, умудряемся не сойти с ума? Ответ: мы учимся потворствовать лжи.

Вот как я тратил свое время. Сначала научился приглушать свое искреннее желание помочь – тот самый маяк, который и привел меня в эту профессию. Потом освоил каноны профессионального выживания: не принимай ничего близко к сердцу – нельзя, чтобы пациенты начали значить для тебя слишком много. Помни, что завтра их здесь уже не будет. Их планы на жизнь после выписки не должны тебя волновать. Довольствуйся малым. Ставь перед собой лишь малые цели. Не пытайся достичь слишком многого. Исключи всякий риск неудачи. Если пациенты в терапевтической группе узнают хотя бы то, что общение может им помочь, что быть ближе к другим – хорошо, что они сами могут быть кому-то полезны, – это уже много.

Постепенно, после разочарования, накопившегося за несколько месяцев ведения групп с ежедневной сменой состава, я разработал метод, позволявший выжимать максимум пользы из этих разрозненных групповых встреч. Самым радикальным моим шагом было изменение временных рамок.

Вопрос: какова продолжительность жизни терапевтической группы в психиатрическом отделении больницы? Ответ: одна встреча.

Группы амбулаторных пациентов существуют много месяцев, даже лет. Определенным проблемам нужно время, чтобы проявиться, чтобы их можно было опознать и решить. В долговременной терапии есть время на «проработку» – можно ходить кругами вокруг проблемы, подходя к ее решению снова и снова (есть даже такой шуточный термин, «циклотерапия»). А у больничных терапевтических групп нет стабильности, в них – из-за мельтешения участников – невозможно возвратиться к обсуждению темы. За пять лет моей работы в отделении две встречи группы подряд в одном и том же составе были большой редкостью, а три мне никогда так и не удалось провести. А уж сколько пациентов я видел лишь единожды! Они приходили на одну встречу, а на следующий день их уже выписывали. Так я и стал прагматическим груп-

повым терапевтом в духе Джона Стюарта Милля⁶ – и на одноразовых группах стремился всего лишь оказать наивысшее возможное благо наибольшему возможному количеству людей.

Может быть, именно потому, что я сделал ведение больничной терапевтической группы своего рода искусством, мне удалось сохранить преданность делу, заведомо безнадежному из-за обстоятельств, на которые я не мог повлиять. Я считаю, что создавал восхитительные групповые встречи. Прекрасные, как произведения искусства. Я рано понял, что не способен ни петь, ни танцевать, ни рисовать, ни играть на музыкальных инструментах. Я смирился с тем, что никогда не стану артистом или художником. Но начав ваять групповые встречи, я изменил свое мнение. Может быть, у меня все-таки есть талант? Может быть, дело было лишь в том, чтобы найти свое призвание? Пациентам встречи нравились, время летело быстро, мы узнавали на опыте, что такое нежность и захватывающее волнение. Я учил других тому, чему научился сам. На студентов-наблюдателей это производило большое впечатление. О своей работе с группами стационарных больных я читал лекции и написал книгу.

Проходили годы, и все это стало мне надоедать. Встречи казались однообразными. Как мало можно было сделать за одну сессию! Как будто бы я навеки приговорен к первым минутам беседы, обещающей быть такой содержательной. Я жаждал большего. Я хотел входить глубже, я хотел значить больше в жизни моих пациентов.

И потому много лет назад я перестал вести группы стационарных больных и сосредоточился на других видах терапии. Но каждые три месяца, когда в больницу приходят новые ординаторы, я сажусь на велосипед и еду из своего кабинета на медицинском факультете в психиатрическое отделение больницы, чтобы целую неделю работать на износ, обучая студентов ведению терапевтических групп стационарных больных.

Вот и сегодня я приехал в больницу за этим. Но не мог полностью отдаться тому, что делаю. У меня было тяжело на душе. Всего три недели назад умерла моя мать, и ее смерть, как выяснилось чуть позже, коренным образом повлияла на ход группы.

Войдя в комнату, где должна была проходить встреча, я огляделся и сразу заметил энергичные юные лица трех новых ординаторов. Как всегда, меня охватила волна нежности к моим студентам, и мне больше всего на свете захотелось что-нибудь им подарить: хорошо проведенное практическое занятие, поддержку преданного делу учителя, какую я в их возрасте получал от своих учителей. Но когда я осмотрел групповую комнату внимательно, я пал духом. Мало того, что завалы медицинского оборудования: стойки капельниц, катетеры, кардиомониторы, инвалидные коляски, – напомнили мне, что это отделение предназначено для тяжелых (и потому особенно невосприимчивых к «лечению словом»!) психиатрических пациентов. Но как же выглядели эти пациенты!

Они, все пятеро, сидели в ряд. Их состояние старшая медсестра вкратце описала мне по телефону. Первым был Мартин, пожилой человек в инвалидной коляске, страдающий тяжелой формой мышечной атрофии. Он был пристегнут к коляске ремнем и до пояса укрыт простыней, под которой нельзя было разглядеть его ноги – бесплотные палочки, покрытые темной, словно дубленой кожей. Одно его предплечье было плотно забинтовано и поддерживалось на весу специальной рамкой – без сомнения, он перерезал себе вены на запястье. (Потом я узнал, что его сын, измученный и озлобленный тринадцатую годами ухода за больным отцом, прокомментировал его попытку самоубийства словами: «Даже это он не смог сделать по-человечески!»)

⁶ (Джон Стюарт Милль 806 – 1873) – известный английский мыслитель и экономист, ввел в употребление термин «утилитаризм». Обладал редким критическим тактом, был талантливым и ясным систематизатором и популяризатором, и этим объясняется успех его произведений. – *Прим. ред.*

Рядом с Мартином сидела Дороти, у нее был паралич нижних конечностей после того, как год назад выбросилась из окна третьего этажа, пытаясь покончить с собой. Она была в таком депрессивном ступоре, что едва могла поднять голову.

Потом были Роза и Кэрол, две молодые женщины – больные анорексией, прикованные к капельницам. Их кормили внутривенно, потому что из-за постоянно вызываемой рвоты химический состав их крови был разбалансирован, и вес их тел стал опасно низким. Особую тревогу вызывал внешний вид Кэрол: изысканные, почти совершенные черты лица, но почти не покрытые плотью. Глядя на нее, я иногда видел лицо дивно прекрасного ребенка, а порой – ухмыляющийся череп.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.